

- ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ: НОВАЯ ПРОЗА И СТИХИ
- КРУГ РАССКАЗЧИКОВ
- СКАНДАЛЬНЫЙ ХАНОХ ЛЕВИН
- ЗАГАДКА ЧЕХОВА
- ДОРОГАМИ ЛИВАНА
- ЕВРЕИ И АРАБЫ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ
- РОССИЯ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКОГО ЖУРНАЛИСТА

26

22

№ 26

1982

МИЛАНСКИЙ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания V

№ 26

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. Из "Новых стихотворений"
(к 75-летию выхода в свет) 3

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ

- ОЛЕГ КУСТАРЕВ. Кристина 7
ИЦХАК ШАПИРО. А ты говоришь... 23
ИЗРАИЛЬ ТЕПЛИК. Где ты был? 32

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ: НОВАЯ ПРОЗА И СТИХИ

- Стебанутые (рассказ) 38
Стихотворения 1978–1981 годов 46
Автопортрет в 36 лет 49

ПОЭЗИЯ

- МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ. Триптих 55
ИЗРАИЛЬ МАЛЕР. Из "Исторических песен" 61

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА: СКАНДАЛЬНЫЙ ХАНОХ ЛЕВИН

- НИНА ВОРОНЕЛЬ: О чем не говорят вслух 64
ХАНОХ ЛЕВИН. Якоби и Лайденталь (пьеса, перевод с иврита
В. Кукуя) 74

ЮМОР И САТИРА

- ИГАЛЬ МОСИНЗОН. Ищи женщину 107
АМРАМ. Раздумия 111

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

- МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Ливанские впечатления 113

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: ЕВРЕИ И АРАБЫ

- ДАВИД РИЧАРДСОН. Карта Мирона Бенвенисти. 137
МИХАИЛ ВАРТБУРГ. На холмах Шомрона 144

С ТОГО БЕРЕГА

- МАРК ДЕЙЧ. Записки постороннего 156

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Ваш Чехов 178

АЛЕКСАНДР СУКОНИК. Мастер и его Маргаретта. 192

ЛЮДИ И КНИГИ

Переписка Генделева с лемурами. — М. ВАЙСКОПФ. Читая Агурского. — И. СЕРМАН. Свидетельства современников. — М. ХЕЙФЕЦ. Трепет иудейских забот Александра Воронеля. — Э. КУЗНЕЦОВ 206

ПИСЬМА

По поводу книги Г. Бутмана. — М. УЛАНОВСКАЯ.
От редакции. По поводу одной публикации 218

МАСТЕРСКАЯ

Л. ГЕРШТЕЙН. Фотомир Ильи Зунделевича 222

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	Я. Цигельман
Э. Кузнецов	И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор
ответственный секретарь — Лариса Герштейн
технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove, Cf. 93950. USA
Y. Levin, U. of Texas, Dept. of Slavic Lang. Box 7217. Austin, Texas 78712. USA.

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

Великобритания

I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 1EW, England.

Типография "Дерби"

Тель-Авив

1982

ИЗ "НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ"

(к 75-летию выхода в свет)

Райнер Мария Рильке

ОДИНОЧЕСТВО

Похоже одиночество на ливень.
Оно встает над гаснущим заливом,
Восходит над равниной сиротливой
И к небу, одинокому всегда,
Стремится, чтоб затем на города
Обрушиться, гремя по черепицам,
В те странные часы, когда дома
К востоку поворачивают лица.
В те самые часы, когда тела,
В объятьях не нашедшие тепла,
Безрадостные размыкают руки.
А люди, что друг другу не нужны,
В одной постели спать обречены.
... И одиночество уходит в люки.

МАЛЬЧИК

Мне кажется, что я один из тех,
Кого ночами мчат лихие кони,
Чьи факелы подобны волосам,
Поднявшимся от бешеной погони.
Перед отрядом я скачу во мрак,
Огромный и развернутый, как флаг.
Я в темном весь, и только шлем горит
Неверным светом, а за мной летит
Десяток воинов в одеждах черных
И тот же свет на шлемах золоченых.

То вспыхнет шлем, то вдруг померкнет он.
Кричит труба, как птица полуночная,
Поет труба о вечном одиночестве,
Мы сквозь него проносимся, как сон.
И переулки вьются торопливо,
И холодеют лица площадей,
Когда по ним стремительно, как ливень,
Стучат подковы наших лошадей.

ОРФЕЙ, ЭВРИДИКА, ГЕРМЕС

А в этом месте странный был рудник —
В нем души, как серебряные жилы,
Во тьме таились. А среди корней
Рождалась кровь, что уходила к людям.
И тяжело, как будто пласт порфира,
Она горела в этой темноте.
Там были рощи призрачных деревьев
И скалы и мосты над пустотою.
И тот огромный пруд, слепой и серый,
Висевший над своим глубоким дном,
Как дождевое небо над округой.
Среди лугов, упруга и покорна,
Вилась дорога лентою бесцветной,
Напоминая белый ручеек.
Дорогой этой поднимались трое.
И впереди в накидке светло-синей
Шел человек с измученным лицом,
Как будто иступленно ждал чего-то.
Его шаги глотали расстояние,
Не прожевав, огромными кусками.
Отяжелевшие висели руки,
Ненужные, над водопадом складок,
Забыв о лире, что срослась с ладонью,
Как ветка розы со стволом оливы.
И словно бы в раздоре
Глаза и уши были. Если взгляд,
Как пес, пред ним носился по дороге

И, замерев, у поворота ждал,
То слух его, подобно обонянию,
Бежал обратно. Иногда казалось,
Что начинает ухо различать
Шаги двоих, которые за ним
Весь этот путь должны были проделать.
Но после снова только стук сандалий
Да за спиной шуршание плаща.
"И все-таки они идут за мною, —
Сказал он громко и услышал эхо. —
Они подходят, просто слишком тихо
Они ступают". Если бы не страх,
Что, обернувшись, разом потеряет
Все, что с таким трудом устроил он,
Он мог бы обернуться и увидеть
Бесшумные два эти существа.
Он мог бы видеть, как по крутогору,
Надвинув шлем на светлые глаза,
Шел бог дорог, Олимпа быстрый вестник.
Как страннический посох выносил
Он пред собою правою рукою.
Как бились крылья на ногах его,
Он мог бы видеть рядом с легким богом
Ее, которую он так любил.
Он так ее любил, что из рыданий,
Которые его исторгла лира,
Соткался мир. И снова повторилось
Все в этом мире — горы и долины,
Леса и реки, птицы и зверье.
Все повторилось в этом странном мире —
Над ним ходило плачущее солнце
И звезды искаженные горели
На небе, почерневшем от беды.
Так он любил ее. Его подруга
Шла об руку с посланником Олимпа.
И лента погребальная, свиваясь,
Мешала ноги ей переставлять.
Она была в себя погружена
Как будто в ожидании ребенка.
О человеке, впереди шагавшем,

Ни разу не подумала она.
Она была в себя погружена —
В ней странное творилось состояние —
Она была мертва. И этим чудом,
Огромною и незнакомой смертью,
Она была наполнена до края,
Как плод, налитый сладостью и тьмой.
Как засыпающий цветок вечерний,
В ней закрывалось женское начало.
И строгое девичество опять
К ней возвращалось. Руки-недотроги
Супружество настолько позабыли,
Что даже бога, легкого как воздух,
Безмерно тихое прикосновение
Казалось слишком дерзким для нее.
Она себя уже не ощущала
Той светловласой женщиной, звеневшей
Так часто в песнопениях поэта.
Ни нежным островом его постели,
Ни собственностью этого мужчины
Она теперь уж больше не была.
Подобная размотанной косе
Подобная струящемуся ливню,
Разъятая на тысячи частиц —
Она была лишь корень, и, когда
Остановил ее богов посланник
И с болью произнес: "Он оглянулся",
Она не поняла его и тихо
Спросила: "Кто?" А далеко вверху,
Где выхода отверстие сияло —
Застыл какой-то темный силуэт.
И этот человек с лицом неясным
Смотрел на бога грустного, который
Без слова повернулся и за тенью
Направился по луговой тропе.
А тень неторопливо удалялась,
Ведь лента погребальная, свиваясь,
Мешала ноги ей переставлять.

*Перевела с немецкого
Елена Иоффе*

Олег Кустарев

КРИСТИНА

В тридцатые годы тяжелый кризис поразил Европу. Безработица гуляла по городам, как чума. Многие люди впали в отчаяние. Пражский инженер С. принадлежал к их числу. Его семья: сам инженер, его жена Кристина и новорожденная девочка — ютились в крошечной квартире, каких было много в старинной Праге. Они плохо питались; топить было нечем. Положение казалось безнадежным. Но тут С. получил любопытную информацию с совершенно неожиданной стороны. У него был друг, доктор К., человек довольно неуживчивого характера, который примкнул к чешским коммунистам и стал поглядывать в сторону СССР. Надо сказать, что в те годы многие отчаявшиеся в буржуазной цивилизации люди возлагали на СССР большие надежды. Целый ряд интереснейших европейских интеллигентов, не имевших на Западе возможности применить себя, бросали пожитки и отправлялись в Москву искать социальной справедливости и твердого заработка, ну и, конечно, показать себя строителями счастливого общества. Врач К. решил последовать за ними. Он-то и рассказал инженеру о прекрасных перспективах в новой стране и стал уговаривать его поехать вместе. Сначала С. немного испугался, но, подумав,

решил, что терять ему нечего. И вот, в январе 1938 года, семья С. собралась и переехала в СССР.

Начало было удачным. В Ленинграде, где они сами захотели жить, им было немедленно предоставлено жилье. Правда, это была всего лишь комната, а не отдельная квартира, на что С. рассчитывал, но зато комната очень большая и в прекрасном месте, на Шпалерной улице, где многие коренные жители были бы рады жить, если бы это было возможно. И через две недели после переселения С. уже имел работу в крупном проектно-институте, где его неплохие знания были нужны позарез. То, чего он около двух лет добивался в Праге, оказалось возможным получить безо всяких усилий. Появились друзья; ребенок, которому было тогда всего три месяца, питался хорошо и развивался нормально, можно было жить в свое удовольствие. Летом, по совету новых друзей, С. снял дачу во Всеволодской. Кристина была без ума от ленинградских пригородов и находила их даже более красивыми, чем пражские. Все может быть: места в самом деле были прекрасные. В этом смысле им, конечно, повезло. А в начале ноября произошло следующее. Исчез их приятель К. Он как сквозь землю провалился. Обнаружилось это так. С. довольно часто ездил в командировку в Москву, и поскольку с гостиницами было в те времена плохо, имел обыкновение останавливаться на квартире у К. Надо сказать, что К. продвинулся сразу же очень далеко. Ведь он был состоявшим в партии коммунистом, да к тому же значительно лучше знал русский язык. Кроме того, у него нашелся влиятельный покровитель, с которым он подружился еще в Чехословакии на каких-то международных коммунистических собраниях. Это был поляк, поселившийся в Москве еще в 1915 году. С его помощью К. получил довольно значительное место в министерстве здравоохранения и даже отдельную квартиру. Приехав в очередной раз в Москву и по обыкновению отправившись вечером к другу, С. не застал его дома. Это было странно, потому что С. всегда предупреждал К. о своем предстоящем приезде письмом, и К. ждал его. Если бы ему срочно надо было куда-то отлучиться, он по уговору должен был оставить записку, извещавшую об этом, и ключ у соседей. С. позвонил к соседям, но те быстро сказали, что никто ничего не просил передать, и где К. — они не знают. С. пытался задавать дополнительные вопросы, но ответа на них не получил и по поведению хозяев понял, что они не особенно хотят с ним разговаривать. Это опять показалось ему странным и

даже несколько его обидело, но делать было нечего. С. повернулся и пошел искать ночлег в другом месте, решив завтра заглянуть опять. Придя назавтра, он увидел что-то такое, что неприятно поразило его и напугало. Дверь в квартиру К. была распахнута, и незнакомые люди вносили в нее какую-то мебель, кажется, это был диван. С. кинулся к ним и стал в страшной спешке спрашивать, что происходит, кто эти люди, почему они вносят свои вещи в чужую квартиру и где ее настоящий хозяин. Но человек в кирзовых сапогах и френче объяснил ему, что с нынешнего дня он и есть хозяин этой квартиры, что он получил на нее ордер законным образом в Моссовете, вот этот ордер, что он ничего не знает о том, кто жил в этой квартире раньше, и куда он уехал, он тоже не знает. С. очень волновался, и его иностранный акцент резко усилился. Новый хозяин квартиры спросил у него даже, не иностранец ли он. И добавил, что по слухам прежний жилец тоже был иностранец. Так вы его знали, спросил С. Нет, не знал, твердо отвечал человек во френче. С. ушел ни с чем. Он хотел, было, обратиться на службу К., хотя и не знал точно, в каком заведении министерства тот имеет служебное место. Поэтому он свою идею забросил, сел в поезд и уехал обратно в Ленинград, решив, что наведет справки в следующий раз, благо очередная командировка виделась уже в недалеком будущем. Кристине он решил ничего не говорить о случившемся, пока не выяснит, в чем тут дело и какая за этим скрывается тайна. Он не хотел ее испугать. Он был уверен, что она испугается, потому что и сам испугался. Ему трудно было себе представить, чтобы старый друг, с которым дружеские отношения даже укрепились после переезда в СССР, так вот просто куда-то уехал, ничего об этом не сообщив. Уж не умер ли он, или погиб в автомобильной катастрофе? С. несколько дней ходил как в воду опущенный. Ему казалось, что Кристина что-то такое подозревает. Волнение С. действительно передалось жене. Она и в самом деле не могла понять, что происходит с мужем, почему он так нервничает и задумывается. С ним, казалось ей, что-то было неладно. Кристина беспокоилась все больше, а через несколько дней муж исчез. Он не вернулся с работы. Обычно он возвращался поздно, так как дела требовали вечернего труда, и Кристина не заметила, как промелькнул вечер. Она спохватилась около полуночи, и сразу же ее охватил ужас. Как быть, где искать пропавшего мужа? Вся беда была в том, что у Кристины не было в квартире телефона. Бежать на улицу в телефон-автомат она не решалась, так как в

постельке у нее спал крохотный ребенок. Можно было позвать кого-то из соседей посидеть возле него, но ведь была глубокая ночь и соседи, конечно, спали, да и вообще они ложились рано, так как очень далеко ездили на службу. Однако около двух часов ночи Кристина все же не выдержала и, предварительно убедившись, что ребенок мирно спит, накинула платок и помчалась вниз по лестнице. Добежав до уличного телефона, она сразу же набрала номер Иннокентия Константиновича Свидерского, сослуживца мужа и их нового друга-приятеля, но телефон не отвечал. Свидерский был холостой человек, не очень уже молодой и очень культурный, так что представить себе, чтобы он не ночевал дома, было совершенно невозможно. Он также не мог отказаться подойти к телефону только потому, что тревожный звонок раздался среди глубокой ночи. Не такой он был человек, Кристина это знала точно. Поэтому немое молчание его телефона еще больше напугало ее. Что тут происходит, думала она, куда они все пропали, и мой муж, и Иннокентий Константинович? Где они могут быть? Она сразу же решила, что если их обоих нет дома, то они непременно должны быть где-то вместе. Но где? Никто на этот вопрос ответить сейчас не мог. Мысль позвонить в полицию несколько раз проносилась в ее голове, но Кристина, сама не зная почему, тут же отметала ее прочь. Какое-то странное, тяжелейшее чувство подсказывало ей, что этого делать не следует. Она этого и не сделала. Вместо этого она медленно, совершенно забыв, что дома оставлен без присмотра спящий ребенок, пошла вдоль по Шпалерной улице, кутаясь в платок, потому что было уже начало ноября и начинались морозы. Она пыталась что-нибудь придумать, но не знала что. Ей быстро стало очевидно, что позвонить она больше никому не может, потому что у друзей, которых было не так уж много, не было телефонов — тогда в этом городе вообще с телефонами было безобразно плохо. В таком случае ей ничего не оставалось кроме как пойти домой, дожждаться утра, а уж утром начинать настоящие поиски. Вдруг ей показалось, что пока она тут бродит по Шпалерной улице, муж вернулся. Стрелой взлетела она по лестнице, ворвалась к себе в комнату, но там ничего не изменилось. Слабо горела настольная электрическая лампочка, тихо спал за занавеской ребенок, комната была попрежнему пуста. Кристина не спала всю ночь, а рано утром пораньше разбудила ребенка, наскоро накормила его, одела и выбежала на улицу. Сперва она побежала к знакомому, проживавшему ближе всех; его звали Савельев, и он жил на Мытненской,

куда еще можно было добраться даже пешком. Поднявшись на четвертый этаж, она долго звонила, пока наконец ей не открыл старик, бывший соседом Савельева. Он впустил ее в квартиру и хмуро смотрел, как она стучит в комнату, которую занимал Савельев с женой. Наконец он сказал, что она стучит напрасно, ведь уже скоро, наверное, девять часов, и все ушли на работу. Что же вы сразу не сказали, рассердилась Кристина, но старик только усмехнулся в ответ, что дамочка и сама могла бы догадаться, не выходной же. Кристине стало досадно за свою нерасчетливость. Ведь сама она не работала и как-то упустила из виду, что все остальные работают и в обычный день застать кого-нибудь дома почти невозможно. У нее опустились руки. Куда теперь идти, она не знала. Днем бегать по адресам было бессмысленно. Кристина вернулась домой, еще раз надеясь застать там неожиданно вернувшегося мужа, но его так и не было. Повозившись немного с ребенком, она стала быстро метаться по комнате, поминутно глядя на часы. Время текло медленно, ничего не происходило, нужно было что-то предпринимать, муж не шел у нее из головы. Часа через два она стала мерзнуть, потому что забыла протопить печку. Надо было нагреть комнату, иначе можно было в начале ноября месяца в Ленинграде совсем замерзнуть, замерзнуть насмерть, лечь и не проснуться, погибнуть, умереть навсегда. Так холодно в Ленинграде уже осенью, а что же творится зимой? Вьюги, метели, сугробы во дворе по колено и морозы, от которых трескаются губы и больно горят кончики пальцев. Плохо с дровами. Но рано осенью дрова еще были в изобилии, их только что привезли. Кристина стремительно побежала за дровами, быстро загрузила печку, но долго не могла ее растопить, потому что в спешке и волнении, конечно же, уложила дрова кое-как, а их надо уметь укладывать, иначе не разгорятся. Муж это делал лучше. Но где же он? Куда он пропал? Он определенно пропал, но ведь не может же быть, чтобы он пропал, не могут люди пропадать просто так, если что-то случилось, должна позвонить полиция. Или кто-то должен позвонить со службы. Кристина сидела на стуле, опершись локтями на стол, смотрела на белую стену с литографией Праги напротив себя и, нахмурив брови, думала и ждала, когда ей позвонят либо с работы, либо из полиции. Пару раз она припоминала, что в ее квартире нет телефона, но тут же забывала об этом. Наконец она заметила за собой, что, пожалуй, и не ждет возвращения мужа. Что-то неясное говорило ей, что он уже не вернется и ждать бессмысленно.

И самой звонить куда-либо бессмысленно и смертельно страшно. Все, что ей предстоит сделать, это дожидаться конца рабочего дня, бежать по очереди к знакомым и, понизив голос, еле слышно спрашивать, не знают ли они, где может находиться теперь ее муж. Вопрос обязательно должен задаваться еле слышно, как можно тише. Уже сейчас она сидела у себя в комнате и разговаривала с собой, еле шевеля губами. Зачем мы приехали сюда, спрашивала она еле слышно и удивлялась, почему раньше это не приходило ей в голову. Нет, она решила твердо, что не будет звонить ни в полицию, ни на службу ни под каким видом. Как только она вспоминала об этой возможности, ужас охватывал ее с головы до ног и ей опять становилось смертельно холодно, хотя комната уже давно протопилась и на самом деле было жарко. Ребенок заплакал от жары. Кристина взяла его на руки и стала утешать, как могла. Она делала это вяло и поверхностно, ребенок плакал все громче, но вдруг затих сам, как видно устав от бессмысленных причитаний, и во все оставшееся время не проронил больше ни звука. А время еще оставалось, до конца рабочего дня было далеко.

Часы шли очень медленно. Кристина смотрела на них пристально и очень долго, но потом оказывалось, что прошли две минуты в крайнем случае десять; немного. В конце концов, однако, время добралась до пяти. Пора, решила Кристина, медленно, не спеша оделась, затем одела ребенка и выбежала на морозную улицу. Она села в трамвай и поехала прежде всего к человеку, который был ей известен как Васильев. Васильев с женой и двумя детьми имел комнату за Охтенским мостом, в только что построенных домах, на высоком этаже, без лифта. Хотя и держа в руках ребенка, Кристина буквально взлетела по лестнице. Она только начинала объезд знакомых, и перед первым визитом ее вдруг охватила новая острая надежда, как бывает со всяким человеком, приступающим к работе, грандиозность и безнадежность которой еще не ясна в первую радостную минуту осуществления. На отчаянный звонок ей открыла жена Васильева. Увидев Кристину с ребенком, она удивилась. Кристина вбежала в комнату, положила ребенка на диван и села к столу. Тихим голосом она сообщила, что пропал муж и она совершенно не знает, где его искать. Жена Васильева молчала, с тревогой глядя на приятельницу. Кристина ждала какого-нибудь ответа на свое сообщение, но жене Васильева нечего было сказать: ей ничего не было известно. Нет, Васильев ничего не говорил, а впрочем, кажется, вчера он видел С. на работе, а был ли С.

на работе сегодня, она сказать не может. Самого Васильева теперь нет, он уехал к сестре и вернется поздно вечером. У сестры есть телефон, туда можно позвонить. Забрав ребенка, они вместе вышли на улицу и позвонили. Васильев ничего не знал. Да, сегодня на работе С. не был, Васильеву он был нужен, но он не мог его найти. Он не подумал ничего плохого. Мало ли что бывает, ну, заболел человек. Но раз его и дома не было, тогда другое дело. Надо чего-то предпринять. Тут поблизости живет один сослуживец, которого Кристина не знает, так Васильев сбегает к нему. Кристина повесила трубку. Что ты будешь делать дальше, спросила Васильева. Я, пожалуй, съезжу к Кедрову, решила Кристина. Я поеду с тобой, сказала Васильева. Возьмем такси. Так удачно вышло, что такси как раз вывернул из-за угла, они сели в него и поехали на Лиговку. У Кедрова была комната на первом этаже огромного здания неподалеку от вокзала. К счастью, он оказался дома. Вид у Кедрова был очень неприятный. Казалось, он чем-то расстроен. Выслушав сообщение Кристины, он сел на стул возле окна и стал почему-то глядеть в окно. Но это продолжалось недолго. Он быстро поднялся снова, подошел близко к Кристине и отрицательно покачал головой, потом добавил словами, что ничего не знает. Вчера он С. не видел с обеда, а сегодня был так занят, что просто не заметил. Он предложил пока не волноваться, а пойти домой и ждать. Но ведь он не ночевал дома, вскричала Кристина. Бывает, вроде бы усмехнулся товарищ мужа, но усмешка быстро сошла с его лица, когда он увидел, что Кристина даже не смотрит на него, а уж стремглав выбегает на улицу. Она вернулась в такси, и они поехали по новому адресу. Обе женщины слишком волновались и выбрали знакомого, который жил дальше всех, где-то в конце Международного проспекта. На Обводном жена Васильева неожиданно вспомнила, что ей срочно надо быть дома. Они остановили машину и стали думать, как ей лучше вернуться на Охту. Время шло, шофер начал нервничать, а потом и громко ругаться. Решили, что жена Васильева сядет тут же поблизости на трамвай и отправится домой. Тут ничего нельзя было сделать, предстояло важное свидание, от которого зависело много, очень много, жена Васильева вся напряглась, думая об этом, в жизни бывают такие минуты, когда решается все, почти все, ты понимаешь меня, кричала она довольно громко. Ноздри ее дрожали, глаза остановились. Кристина все прекрасно понимала. Две женщины были очень близки. Они были настоящие друзья, после переезда в эту страну

у Кристины не было никого ближе. Кристина была в курсе дела, и ей ничего не надо было особенно объяснять. Они просто не могли расстаться, они боялись расстаться, и поэтому стояли на тротуаре Обводного, рядом с нанятым автомобилем, и рыдали глядя друг на друга, причем Кристина только повторяла, что она все понимает, а другая женщина быстрым шепотом выговаривала, что она не может, не правда ли, милая, я не могу, это понятно. Шофер стал торопить их вторично. Тогда они попрощались и договорились, что теперь Кристина поедет на Международный, куда-то к Средней Рогатке, а жена Васильева пока поедет домой, но ночью непременно приедет к Кристине и будет у нее ночевать. На Международном Кристина отпустила такси, потому что вспомнила, что у нее больше нет денег на оплату дорогого транспорта. Знакомый, к которому она приехала, оказался уже три дня больным, не ходил на работу и ничего не мог сообщить. Он буквально вынудил Кристину остаться у него и выпить хотя бы горячего чаю, хотя она отказывалась, бормоча фамилии других знакомых, которых ей нужно было сегодня обойти. Но знакомый очень правильно сказал, что нужно отдохнуть и подкрепиться. К тому же ребенок. Нельзя так долго таскать его по холодному городу. Пришла жена знакомого и отняла у Кристины ребенка. Они сели пить чай, но Кристина поминутно подымалась с места и с ней трудно было разговаривать. Ее расспрашивали, но она ничего не могла отвечать. Она только время от времени говорила, что муж вчера не вернулся и что она совершенно не может понять, что происходит. Знакомый несколько раз начинал предполагать, не мог ли С., например,... но ему самому было очевидно, что не мог, и знакомый так ни разу и не высказал вслух свои нелепые предположения. Под конец он только пожимал плечами, трогая подбородок, и вопросительно глядел на жену. Жена была перепугана насмерть. Как будто пропал ее собственный муж. Даже трудно было себе представить, что человека так может испугать исчезновение чужого человека. Тем более, что С. пропадал к этому моменту всего один день, и все могло еще обернуться каким-нибудь смешным и безопасным недоразумением. Всякое бывает. Но у жены этого знакомого был такой обреченный вид, какой бывает только у людей, на которых сию минуту свалилось страшное горе. А ведь горе свалилось не на нее, а всего лишь на знакомую, к тому же не очень-то и близкую знакомую, так, мужья работали вместе, а больше, пожалуй, и ничего. Кристина была занята собой и поначалу не замечала этой странности. Но стран-

ность была велика и постепенно привлекла ее внимание. Она стала глядеть на жену знакомого в упор и ей стало казаться, что та что-то знает, но не хочет почему-то говорить. Что вы знаете, спросила Кристина, и несколько раз повторила этот вопрос, подвигаясь к жене знакомого все ближе и ближе. Она стала брать ее за руки, заглядывать ей в глаза, но та ничего не могла ответить. Наконец, Кристина воскликнула: вы что-то знаете, почему вы не хотите мне сказать. Та отчаянно мотала головой, быстро выкрикивала нет-нет-нет, помилуйте, нет-нет-нет, нет, и зажмуривалась, а потом открывала глаза, и в упор смотрела на Кристину, как бы желая доказать, что не боится ее взгляда, но тут же отводила глаза, потому что боялась, страх одолел ее и скрыть это было никак невозможно. Что вы, голубушка, что я могу знать, откуда, почему вы так думаете и т. п.. Тогда Кристина начала ее умолять, чтобы та сжалась и сказала правду. Какую правду, умоляла в свою очередь другая. Всю правду, любую, рыдая, говорила Кристина. Я ничего не знаю, если бы я что-нибудь знала, что-нибудь понимала, едва сдерживая рыдания, отвечала другая женщина. Но Кристина настаивала, голос ее срывался и хрипел, глаза горели темным блеском, она сжимала руку знакомой, так что у обеих побелели пальцы, в комнате раздавались редкие рыдания, наконец они обняли друг друга и другая женщина сказала, что позавчера, только позавчера загадочно пропал ее брат, родной брат Федор, совсем молодой человек, ваш муж был с ним знаком, он знал, какой это был прекрасный молодой человек, подававший большие надежды, и никто не знает, где он теперь. Тут Кристина вдруг вспомнила, что накануне не могла дозвониться до Иннокентия Константиновича Свидерского. Пропал ваш брат, вскричала она, вы ведь знали Свидерского, он тоже пропал. Пропал Свидерский, поразился знакомый, вы так уверены в этом? Уверена, уверена, отвечала Кристина, я звонила ему, его ночью не было дома. Ах вот как, сказал знакомый, и Кристина увидела, как на глазах опухает его лицо и начинают дрожать руки. Что происходит, сердито закричала она, что здесь происходит? Пропал мой муж, пропал ваш брат, пропал Иннокентий Константинович, ведь это же очень много народу пропало, люди пропадают, что все это значит, я ничего не понимаю, как это возможно? Воцарилось молчание. И тут заплакал ребенок, про которого в эту напряженную минуту все забыли. Кристина мгновенно оборвала разговор, бросилась к ребенку, наспех завернула его и побежала к двери. Жена знакомого схватила ее за руку и

не пускала, умоляя не уходить, а остаться. Уже темно, не ходите туда, останьтесь, вы можете ночевать у нас, завтра — она несколько раз повторила “завтра”, но не знала что сказать дальше. Кристина вырывалась, говоря, что она должна искать мужа, что она еще не всех обошла, нужно торопиться, а то наступит ночь, транспорт перестанет ходить, а у нее кончились деньги, и она не может больше нанять такси. Знакомый, стоявший несколько времени без движения, кинулся к ней, протягивая деньги. Возьмите ради Бога, сказал он, вам нельзя с ребенком ездить на трамваях так поздно в таком холодном городе, возьмите. Кристина взяла. Жена знакомого тем временем впала в другое состояние. Тихо плача, она отошла в угол и, казалось, потеряла всякий интерес к Кристине. В совершенном безмолвии Кристина покинула эту квартиру и вышла на улицу, не зная сразу, куда ей теперь идти. Она пошла немного вдоль по Международному, сообразила, что уходит от центра, перешла на другую сторону и там стала искать такси. Долго его не было, а она все шла и шла. Наконец, рядом с ней к тротуару приблизилась машина, из нее вышли двое, и Кристина узнала в одном из них своего мужа, а в другом Свищерского. Она окликнула. Мужчины остановились и посмотрели на нее. Ей только показалось, это были не они. Один из них, впрочем, имел что-то общее с С., у него была такая же шляпа и он так же сутулился, но как она могла принять другого мужчину за Свищерского, было непостижимо. Все же она пошла к ним, желая увидеть поближе и удостовериться. Но нет, по мере ее приближения сходство все больше пропадало. Кристина остановилась в двух шагах от случайных встречных, и хотя ей уже было абсолютно ясно, что это не те, кого она ищет, она продолжала вглядываться в них со всей возможной силой. Она несомненно хотела превратить их в тех, кто был ей нужен, но для таких вещей требуется куда больше сил, к тому же Кристина успела за прошедшие сутки очень устать. и даже ее собственные силы были на исходе. Один из случайных встречных вежливо поклонился и спросил, не плохо ли ей и не нужно ли ей помочь. Она отвечала, что нет. Прохожие смотрели на нее серьезными глазами и не знали, что делать. Не знала и она. Тогда другой мужчина еще раз спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. Я обозначилась, отвечала она, я приняла вас за двух других людей. Прохожие улыбнулись облегченно и хотели вежливо уйти, но она повторила, что приняла их за кого-то другого, и они опять нерешительно остановились. Кристина повторила эту фразу еще

дважды и один из случайных прохожих еще раз вежливо спросил, не надо ли чем помочь, а потом, оглядев внимательно странную фигуру женщины с ребенком, добавил, что ей надо бы идти домой, поздно и холодно, ребенку надо домой. Кристина сказала, что да, надо идти. Тут она увидела, что машина, из которой вышли неизвестные люди, показавшиеся ей почему-то хорошо знакомыми, все еще стоит рядом с тротуаром и что это такси. Она сказала, что возьмет это такси, собеседники обрадовались, раскланялись и ушли. Кристина немедленно села в машину и велела шоферу ехать на Загородный проспект. Она вспомнила, что там живет двоюродная сестра Сви́дерского. Несколько раз они вместе со Сви́дерским бывали у нее в гостях. Это была деятельная и осведомленная женщина и поэтому, подумала Кристина, она должна что-то знать, может что-то знать и, конечно, скажет. Впрочем, что значит: — конечно, скажет. Ведь другие наверняка что-то знают, но не говорят. Эта мысль не приходила Кристине в голову раньше, но как только она подумала так, ей стало плохо. Она даже разжала руки, которыми все время до этого, как в судороге, держала ребенка, и у нее заболели глаза. Я не спала всю ночь, подумала Кристина, почему же они не говорят мне. Теперь она была совершенно уверена, то тут есть какая-то тайна. Собственно, трудно было считать ее тайной: ведь всем что-то там такое было прекрасно известно. Это остается тайной только для нее. Все скрывают от нее что-то. О, местные жители не хотят выдавать свою страшную тайну иностранке. Я же иностранка, сказала она вслух. Шофер, услышав эти слова, повернул к ней голову и посмотрел с любопытством. Она рассказала ему все. Шофер выслушал, не проронив ни слова. Она ждала, не решаясь задать ему какие-нибудь вопросы сама. Но она ждала напрасно. Шоферу сказать было нечего, и поэтому он молчал. Так они ехали еще минут пять и, наконец, остановились напротив указанного Кристиной дома. Кристина расплатилась и вышла. Двоюродная сестра Сви́дерского Фаня открыла ей дверь. Она была в халате, как видно, собиралась лечь спать, хотя было еще не так поздно, но, кажется, обрадовалась Кристине. Они прошли в комнату. Кристина вскрикнула. В кресле сидел Сви́дерский. Но это был не он. Кристина остановилась как вкопанная и все смотрела и смотрела. Наконец, ей опять показался Сви́дерский, но и на этот раз видение быстро прошло. Фаня представила мужчину. Это был не Сви́дерский. Кристину усадили в другое кресло, забыв забрать у нее ребенка, и она так

и сидела с ним на руках. Сначала веселая Фаня, разглядев хорошенько Кристину, забеспокоилась. Она спросила, что случилось. Как, разве вы не знаете, отвечала Кристина. Фаня пожала плечами. Где Иннокентий Константинович, спросила Кристина. Наверное дома, насторожившись, отвечала Фаня. Его нет, крикнула Кристина так громко, что мужчина в кресле дернул головой и оглянулся на стенку. Я сейчас позвоню, сказала Фаня и вышла в коридор. Через две минуты она вернулась и сообщила, что телефон не отвечает. Но в ее голосе пока еще не было особого беспокойства. В конце концов, что такого в том, что человека нет дома. Он может находиться где-то в другом месте. Но тут Кристина сообщила о своем ночном звонке, и Фаня стала более серьезной. Да, сказала Кристина, я забыла вам сказать, что мой муж пропал. Как пропал, сказал мужчина в кресле. Как так пропал, спросила Фаня. Кристина рассказала. Боже мой, побледнев, сказала Фаня и закрыла руками лицо. Потом она повторила несколько раз: Иннокентий, Иннокентий. Что все это значит, спросила Кристина, вы должны объяснить мне, куда они оба могли пропасть, что могло с ними случиться. Вы еще спрашиваете, с удивлением сказал Фанин приятель. Кристине показалось, что наконец-то сейчас что-то прояснится. Продолжайте, продолжайте, обратилась она к мужчине, ведь вы что-то хотите сказать. Но он уже пошел на попятный, разводя руками и глуповато ухмыляясь, он начал говорить что-то такое про несчастные случаи. Фаня вскинулась и сказала ему, чтобы он замолчал. Все это глупости, какие там несчастные случаи, успокойтесь, голубушка, ничего особенного не произошло, то есть она хотела сказать, что все это выглядит очень неприятно и, пожалуй, самое время немного поволноваться, но она уверена, абсолютно убеждена, что все раскроется каким-нибудь неожиданным образом и все мы потом будем над этим смеяться. Она даже тут же начала смеяться, но долго не выдержала и снова побежала а коридор звонить Иннокентию. На этот раз она звонила долго, минут пять, и пришла растерянная. Не могу понять ничего, бессильно сказала она. Нечего тут и понимать, сказал ей приятель. Фаня топнула ногой, надежды Кристины рассеялись. Все выходило наоборот. По расчетам, Фаня должна была сказать ей что-то важное, но как раз она ничего не говорила и даже совершенно недвуммысленно перебивала своего приятеля, который как раз хотел сказать. Кристина заснула. Никто этого не заметил, потому что она спала с открытыми глазами и всего несколько секунд. Она увидела перед собой Шпалерную ули-

цу, совершенно пустую, и только из дальнего конца по ней шел человек, ее пропавший муж. Его лицо приближалось, его глаза были совсем напротив, он открыл рот что-то сказать, и Кристина увидела его зубы, два ряда зубов. Кристина проснулась. Свет в комнате был для нее очень ярк. Она закрыла глаза и уже не во сне увидела ту же картину, заканчивавшуюся двумя рядами зубов. Нет, она не могла здесь находиться. Ей нужно было идти дальше. Она встала и попрощалась. Фаня не держала ее. Да, да, идите домой и ждите там, мы должны ждать, он вернется, они вернутся, нам всем следует спокойно сидеть дома и ждать. Чего ждать, сказал Фанин приятель, и Кристине показалось, что в этом коротком выражении много тяжелой тоски. Он сейчас умрет, подумала она и обернулась. В кресле сидел ее муж, и он действительно был мертв. Кристина вскрикнула и упала без чувств. Она пришла в себя только после того, как еще раз увидела все ту же картину. Кресло было пусто, мертвого человека в нем не было. Кристина поняла, что он ушел и что она должна идти за ним. Она поднялась с дивана, удивляясь, как она здесь оказалась, и взяла на руки ребенка, который непонятно почему лежал где-то в другом месте, тихо попрощалась и медленно вышла на улицу. Было уже темно, в этом городе ближе к зиме темнело так рано. Было резко холодно, и в воздухе мелькало что-то темное, Кристина догадалась, что это снег, это был ранний снег; он шел еле-еле, хлопья падали, как замерзшие и умершие маленькие существа, плавно и отдельно. Земля же была черна, как в разгар лета. Это было плохо, потому что покрытая снегом земля выглядит на самом-то деле теплее. Черный вымерзший город страшен как могила, как неживая природа, в нем с трудом живет. Кристина повернула на Гороховую улицу. Ей теперь нужно было пойти еще по одному адресу, или по двум адресам, она не помнила точно. Где-то на Гороховой жил человек, приходивший к ним однажды. Кто он был, она не знала. Он приходил вместе с мужем, и они рассматривали какие-то чертежи, это был кто-то из какой-то фирмы, или из какого-то института, что-то такое в этом роде, муж ездил потом несколько раз к нему, муж всегда предупреждал, куда едет, и оставлял адрес, она помнила этот адрес, помнила все время, и только сейчас у нее немного перепутались два или три адреса, к тому же название одной из улиц, улица, кажется, какого-то Елизарова, абсолютно ей ничего не говорило. А, впрочем, может быть, Елизаров был не улица, а человек, который жил на какой-то другой улице. Кажется, среди

их знакомых был какой-то Елизаров, или не было, сейчас уже трудно было вспомнить. Ей показалось, что она узнала дом, в котором должен был жить тот знакомый, который с чертежами, да-да, его фамилия была Елизаров, к Елизарову было нужно непременно зайти. Кристина вошла под арку. Пройдя длинный узкий туннель, она оказалась во дворе, который ее напугал. По другую сторону двора была еще одна арка, у одной стены валялись какие-то ящики, у стены напротив были сложены дрова, несколько низких дверей едва виднелись при плохом освещении. Кристина оглядела двор и выбрала одну из дверей. Лестница была узкая, ступеньки неодинаковой высоты и неровные, впрочем, они еле различались в холодной темноте черного хода. Кристина стала подниматься по лестнице, оглядывая двери. Наконец, она остановилась перед одной, в которую ей нужно было позвонить. Не найдя в потемках звонка, она несколько раз ударила ладонью по мягкой обивке. По ту сторону послышались шаги. Дверь открылась, и на Кристину дохнуло теплым паром жилого помещения, кухни и запахом ношенной одежды. На пороге стояла женщина с широким, плоским лицом, повязанная платком и в длинной мещанской юбке. В одной руке она держала кастрюлю, которую, как видно, куда-то несла, но так и не донесла, остановленная стуком в дверь. Она смотрела на Кристину хмуро и безразлично. Кристина молчала. Ей вдруг стало понятно, что это, конечно же, та квартира, которая ей нужна, но пришла она сюда напрасно, потому что это не та квартира, которую она искала. Женщина в дверях тоже молчала. Так они постояли минуты две. Так же хмуро и равнодушно женщина в платке закрыла дверь, и Кристина опять осталась одна на темной холодной лестнице. Она вяло спустилась вниз и вышла во двор. Во дворе она постояла немного, вспоминая, через какую из двух арок ей выбираться обратно на Гороховую и, ничего не решив, пошла наугад. Она попала в какой-то другой двор, очень похожий на первый, но с поворотом. Она повернула туда, за угол двора, и пошла по каким-то узким переходам, кажется, еще через несколько дворов и пришла во двор, из которого уже никуда нельзя было выйти. Она вошла в дверь в стене. Она попала в проходную парадную и, выйдя в противоположную дверь, оказалась на улице. Это снова была Гороховая и почти в том же месте. Пройдя некоторое расстояние по тротуару, Кристина еще раз зашла в какой-то двор. Что-то говорило ей, что на этот раз двор тот самый. Туннель и двор были совершенно такие же,

как и в прошлый раз, но странное чувство подсказывало Кристине, что это совсем не та арка, не тот двор и не те дрова возле высоких черных стен. Что-то было неправильно. Единственная дверь во дворе оказалась в подвал. Лестница вела вниз. Кристина сошла несколько ступенек и остановилась, потому что раздались шаги, и она поняла, что кто-то идет ей навстречу. Кристина прижалась к стене, давая встречному пройти. Он прошел, едва задев Кристину плащом, и вышел наверх. Кристина хотела пойти дальше вниз, но вдруг остановилась и, услышав, как хлопнула наверху дверь, быстро взбежала по ступенькам. Дверь не открывалась. Она надела плечом, потом ударила несколько раз ногой — все было напрасно. Но ей обязательно нужно было догнать ушедшего человека. Не зная, что делать, она тем не менее не решилась кричать. Она снова пошла вниз. Лестница повернула и привела ее в узкий коридор, едва освещенный каким-то дальним светом. В самом конце коридора она увидела темную фигуру в плаще и узнала плащ, который только что коснулся ее на лестнице. Кристина пошла вдоль коридора, касаясь попеременно то одной, то другой стенки. Коридор кончился узкой дверью. Кристина вышла на улицу. Это снова была Гороховая. Кристина оглянулась по сторонам и снова увидела того человека. Он шел по Гороховой, в сторону Фонтанки, и Кристина решила, что ей надо идти за ним. Человек, это был мужчина в коричневом плаще, кого-то ей напоминал, но она не могла решить кого. Несколько лиц мелькнуло у нее в памяти, разные лица, разные люди, но это был, несомненно, один и тот же человек, очень хорошо знакомый Кристине, человек, которого она, может быть, видела раньше каждый день. Но кто это был, она не могла вспомнить. Мужчина шел не быстро и не медленно, не останавливаясь и не оборачиваясь, воротник его плаща был высоко поднят и лица не видно. Кристина шла по Гороховой улице точно за ним, смертельно боясь отстать, но также боясь и поравняться с этой смутной фигурой. Она слышала его легкие шаги и не слышала своих собственных, потому что ставила ноги по земле одновременно с ним. Так она прошла Фонтанку, потом Садовую улицу, Екатерининский канал и сразу за ним Казанскую. На мосту через Мойку она посмотрела в сторону и быстро посчитала, что переходит уже третью реку. Сколько воды в этом городе, сказала Кристина, покачив головой, и продолжала идти. Плащ с поднятым воротником по-прежнему двигался впереди. Так они перешли обе Морские улицы и повернули направо. Обогнув Алек-

сандровский сад, человек в плаще так же равнодушно двинулся в сторону Дворцового моста.

Они приближались к мосту. Когда впереди идущий мужчина уже всходил на этот мост, Кристина вспомнила и поняла, кто это был. Она громко позвала, но человек, не оглянувшись, прошел дальше и пропал из виду. Кристина ринулась за ним, глядя широко открытыми глазами впереди себя, но мост был пуст, там не было ни души. Она прошла вдоль перил до середины и остановилась, не зная, что делать дальше. Взгляд ее упал вниз. Внизу протекала огромная черная река. Кристина слегка оттолкнулась ногами и медленно перекинулась вниз. Ребенок, кажется, застонал, но у Кристины уже шумело в ушах, и она ничего больше не слышала. Раздался всплеск, и холодный тяжелый поток потащил тело вниз к Николаевскому мосту и еще дальше, мимо заставленных спящими безлюдными судами берегов к заливу...

ФЕЛИКС РОЗИНЕР НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР

Р о м а н

Роман написан в Москве в 1975 году и с той поры широко распространялся в самиздате. Тема романа — судьба интеллигенции в России, судьбы культуры, искусства, творческой личности в современном мире. Это остросюжетный многоплановый роман в традициях "золотого века" русской литературы, но по своей стилистике полностью принадлежащий к современной прозе.

ПАРИЖСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. В. ДАЛЯ ЗА 1980 г.

"Феликс Розинер впервые вывел эту фигуру из будничной суеты и сделал ее трагической... Не надо никакой политологии, советологии, кремлинологии, — довольно простого рассказа о том, как все криво, смещено, раздвоено, разъято, склеено из нелепых, несходящихся осколков..." ("Русская мысль")

Издательство "Оверсиз", Лондон, 1981. 600 стр.

Стоимость книги: мягкая обложка — 6 ф. ст.

твердый переплет — 7.50 ф. ст.

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ

Ты мне про революцию не чирикай. Не травмируй своим голосом. В этом деле твое слово — крайнее. Что ты знаешь? — в кино смотрел да от учительки слышал, — вся наука. А я революцию с короткой дистанции видел.

Год рождения?.. При чем тут... Ну, с тридцать третьего. Смешно? Лошадь ты, друг мой, серая лошадь! И я об Октябрьской говорю. Но не семнадцатого. Понял? История — это тебе не карбюратор чистить, в этом ты спец: продул, промыл и газуй! Нет, в истории каждый факт, как болт в мосту: выйми один и по всем железным законам сверзится мост к едреной фене. Ясно? А ты, Федя, к оптику сходи, — дальше своего пупка у тебя зрение короткое. Кто заливает — я? Да ты еще в проекте значился, наружу не выглядывал, когда я.. Лучше закусывай, парень, не то схудеешь от умственной натуги, одни маслаки останутся. Очень смешно... спрячь зубы, не заводи меня. Что ты знаешь, пень болотный?! Да может я вот этими руками революцию в упор расстреливал, а? Ты это можешь чувствовать?.. Без дураков, по живому стрелять! С дистанции десять метров! А они — пацанва, однолетки мне, — соображаешь? Своими глазами видел: дырки у них на спине, как пчелиные соты, каждая с гривенник...

Ицхак Шапиро

А ТЫ ГОВОРИШЬ...

Я кто был: фзо кончил, поработать успел, тут в армию забрали. Еще зеленый, характера нет, куда дует, туда и гнусь, а мне кричат: огонь! Пли!

Ладно, выпьем. Чтоб не кричали!

Потом живешь, хлеб жуешь, а на кого гашетку давил, тому хлебушек не нужен, его самого черви съели. У него жизнь только в начале, еще кость крепла, в рост шла, и уже — под корень, жик! Ни света, ни тепла, ничего не стало. Ноль. А зачем, за что? — не известно.

Проще нет, сказать: судьба. Словами отбояриться. Слова — пушинки, безбольные, а какая-то вшивая пуля в яму сводит, без разговоров. Но какой я судья, чтоб его жизнь забирать? — вот это меня печет. А его матери в живых остаться, в памяти носить сына, ей-то за что казнь такая? Душа ведь почернеет. Мы с тобой сидим, "Солнцедар" хляем, а он не пробовал, не успел. Да и нет у них этого дерьма, у них там "Токай" пьют.

Не темню. В Венгрии было, в пятьдесят шестом.

Почти два года там прокантовался. Поначалу нравилось в за-гранке: кормят сытно, фуражка с лаковым козырьком, ремни не тряпичные, — кожимит, блестят, как у офицеров. Зато муштровали — вспомнить тошно. Дисциплина была — без команды задницей не свистнешь. Чуть что, наряд вне очереди. Особо старался майор Клепиков, замполит. Тихо скажет: "Три дня гауптвахты. Доложи своему командиру", — и дальше топает, будто делом занят, а наказание — это так, промежду прочим. Голова у него всегда в землю, вроде потерял что-то, а честь ему отдавай, как на параде. Иначе заставлял пятьдесят раз откозырять телефонному столбу.

Перед увольнением он нам на моральный облик давил. Чтоб никаких начинаний с местными гражданками. На природе гулять — это пожалуйста, в полную силу гуляй, но юбку встретил — глаза отводи. Здесь служба. Дома, говорит, потретесь возле баб, а здесь эту штуку заплombируй. Ну, а ежели невтерпеж — вяжи его узлом, чтоб не голосовал.

Но когда в октябре завертелась на улице свистопляска, майор голос сменил. До хрипа политзанятия долдонил, мол, Америка вкупе с немцем хотят Венгрию помещикам вернуть. И вообще они гады, каких поискать, против трудового народа, против хорошей жизни, у них собственные интересы, а наш полк, при таком мокром обороте, должен порох держать сухим.

Мы, конечно, верили — так оно и есть, холера ясная, капиталисты и прислужники! Понимали — дело не шутейное, раз он до белой пены старается. Даже частушку, помню, о предательской политике сочинили:

Имра — Надя
обе — бляди!
Все продали
денег ради
атлантическому дяде...

Дальше забыл, веселые куплеты.

Тут, значит, в соседний взвод вернулся один из госпиталя, рассказывал: нашего брата навалом там, местов не хватает, в коридорах раненые лежат. Особо, говорит, калечились, кто на бронетранспортерах был, улицы узкие, а по тебе стреляют сверху. Попала пуля в кузов и пошла гулять рикошетом, по бортам чиркает, ищет, на ком остановиться.

Мадьяры, — говорит, — настырная кодла, хуже не бывает. Все против власти, и министр и последний работяга, а чего хотят — понять нельзя, — дома красивые, черепицей крытые, хлеба вдоволь, одеты-обуты по-иностранному, а еще не довольны, бунтуют. Не наша нация, точно...

От этих разговоров да от крика Клепикова веселые картины рисовались ярким пламенем на темном фоне. Ноздри душок чую-ли, вроде паленой шерстью пахнет. Только и надежда, что кукушка не ошиблась — долгие годы накуковала. И в то же время, как поверить, что пожар близко, когда дыма нет? Осень на дворе стояла солнечная, сухая, небо чистое. Клены красуются последним цветом. Не клеилось в голове, что за стенкой правдышняя война.

А шестого ноября в Будапеште глаза открылись. По улице гарью дуло. Деревья повалены. Окна битые чернеют. На площади прежде памятник из бронзы стоял, теперь фигуру Сталина убрали. Автогеном срезали по колена, осталась на цоколе только пара сапог. Смотришь: стоят на верхотуре чоботы нечеловеческие, с того размера, а хозяина нет, босой ушел.

Выгрузили нас на улице Ференц-керут. Утром танки прошли, санитары покойников уже отвезли, нам досталась легкая работа: баррикады растаскивать, булыжники, доски, ящики... Упариться не успели, вдруг в нашу сторону цвеньк! Задним числом понимаю: могли нас как цыплят перещелкать, — на открытом месте были.

Счастье, что те метили не прицельно, от камней лишь осколки брызнули. Мы срочно в рассыпную, кто куда.

Не знаю, сколько их там было, отстреливались они не густо, с верхних этажей, и должно быть чердаками ушли. Целый квартал мы переверотили, каждый закуток обшарили, патронов не жалели. А для них все проходы свои, ищи-свищи с ветром... Но все же двух голубчиков забагрили. Сволокли их во двор. Сырой двор, мусорный, без солнца, меж домов провалился. А эти двое стоят в кожаных курточках среди нас и молчат, будто русского языка не петрят. Майор Клепиков вопросы им, про командира, про оружие, а они, чурки, ни бельмеса. Им бы покаяться по-хорошему, мол, несмышлениши, малолетки, это, мол, старшие заставили, прикинуться дурочкой, сопли размазать, все же надежда... Клепиков, со стороны смотреть, не злой мужик, ряжка круглая, добросердная, — не могли они знать, что слезами его не разжалобить, должны были себя спасать. А они не вякают. Держатся занозисто, губы сжали. Один вовсе хляк, лет шестнадцать, не спелый еще. Волос ежиком, белобрысый, и глаза вражьи, в упор смотрит. Невдомек им было, что не стоит петушиться, просить надо... Может и не думали, что это конец... последний час, вот здесь, во дворе. Разве об этом думают? Даже когда лицом к стенке повернули, может надеялись, что пугаем... обойдется... А Клепиков уже командует: огонь!

Чудик ты, парень: приказ есть приказ. Выше хера не прыгнешь. Нечего рыпаться. Мозги так забьют — своих не узнаешь, впопыхах да горячке не поймешь, где правда, где нет, святое с грешным в одной лыжне. Когда эти под стенкой свалились, знаешь, о чем думал? — Только и шевельнулось, что курточки кожаные жаль, продырявили мы их без пользы. Других мыслей не было. Глазами запомнил, а в башке пусто, ничего постороннего. Клепиков торопил — баррикаду разбирать.

Это потом приходит, когда старше, когда обкатают, начнешь вспоминать всякую ерунду, глупые вопросы зудят, чешутся, а ответа не знаешь, и спросить не у кого, глухо и муторно, как в сухой бочке. У тебя, Федя, не случалось — сердце давит, вроде кто-то горячий палец тычет? Не бывает, а? — Молодец. Капни, сухо в горле.

А ты говоришь — революция, конституция... пустыми словами воздух портишь. Брось! Забудь!

Возьми, венгры: от мала до стара заодно были, можно сказать,

весь народ с четверенек встал, а что получилось? — Голый пшик. И еще большая дуля. Против танков не попрешь. Задавит, и не оглянешься. Как говорят в Польше: тот пан, у кого больше. Может когда-нибудь в следующем времени их смерть аукнется, будет толк, но только это ждать-пождать, и не дожидаться можно.

Думаешь, чего нас из Венгрии срочно отправили? Решили: подалее от греха. Революция — это как триппер: тоже подхватить можно. Липкая, зараза.

Начальство в этом вопросе разбирается крепко. Научены. Вот и заботятся о нашем здоровье, чтоб потом лечить не пришлось. Правда, не всякое усердие на пользу. От натуг, бывает, конфуз случается. Стараешься, как бобик, а тебя щелк по носу: не выпендривайся, сиди смирно! Клепиков, к примеру, так старался, не за страх, на совесть, и — не повезло. Сам себя наколол на почве долга. Мелкая катавасия, пустяк, а обернулось некрасивым концом. Не зря говорят: когда кирпич по кумполу, то всем потеха, а один молчит, не смешно ему. А с Клепиковым похлеще было. И я к тому пустяку касательство имел.

Поселили наш полк в Первомайске, Николаевской области. Городишко мелкий, после загранки не смотрится. Даже река называется Синюха, одним словом — не Дунай. Но... своя редька слаще. Стены гауптвахты — и те — родные.

Между прочим, я на губу в первую неделю попал. За то, что город незнакомый. Проводил после танцев одну толстушку. Пышный бабец, правда, глаз немного кривой, зато полпуда за пазухой. Выпили—закусили, остался у нее ночевать. А к рассвету у меня лопает терпелка, пузырь полный. Я в сапоги и тихонько во двор. На улице свежо, иней лежит. У меня после выпивки голова ровно не держится, пиво с водкой мешал. Облегчился, а обратным путем неверное направление взял. Нужную дверь не найду, все заперто. Дворы закоулистые, плутаю в них. Заметался от дома к дому. А на мне, заметь, только армейские кальсоны, и те спадают от переживаний. Стал я в двери тарабанить. Молчат. Или дрыхнут, или боятся. Наконец, за одной парадной мужик спрашивает:

— Чего надо?

— Дверь, — говорю, — потерял.

— Топай дальше, выйду — зубы потеряешь.

Растолковал свою беду: толстушка, один глаз косит, а как зовут — не знаю, выскочило, как зовут...

— Нету, — говорит мужик, — у нас без имени. Косые — есть, но без имени — не бывает.

А я зубами тарахчу. От холода хмель испарился, матюками не согреешься. Были бы спички, я бы им пожар устроил, они бы у меня из окон прыгали, но зажигалка в брюках, а брюки — неизвестно где. Чувствую, гибель в затылок дышит. Бросился по улицам, казармы искать. Прохожие в подворотни ныряли, считали, что из буйного отделения сбежал.

Утром приперся в часть, синее трупя, а Клепиков на проходной. Три дня гауптвахты — это не много, если города не знаешь.

Искал потом ту хату, да бестолку. Главное, ремень жалко, и зажигалка импортная.

Не торопи. Толстушка — это для затравки. Настоящий интерес с другой был. Так голубились, до загса дойти могли, но тут Клепиков примешался, и наша сладкая дурь с горы покатилась, черепки не собрать. Только, Федя, чтоб разговор между нами умер, крест!

Перед самым дембелем, сам знаешь, время волами плетется. Беспокойство в голове от близкой свободы. Три года за спиной, скоро — айда! застучишь по рельсам! У меня в то время на повестке дня Валюша была. Не то чтоб давалка, а клевая девка! Прикипела ко мне, и я тоже не против. Вызывает, бывало, к воротам: "Без тебя, — говорит, — день серый..." Я от таких слов совсем дурел. Встречались мы в увольнение, но это все одно, что в засуху веничком кропить. Аппетит только раззадоришь.

Напарником жил со мной татарин, толстый, сонный писарь. Акчурин фамилия. В очках слабо видел, а без них вообще крот. И спал он не по-людски: голову под подушку и оттуда заводил храповецкого. Знаменито храпел, оттого ко мне поселили. Старшина пристал: "У тебя служба кончается, потерпи. Ты спокойный, а в общей казарме все нервные стали, они его задушат. Жаль татарина. Почерк у него красивый."

Каптерка наша в конце коридора ютилась. А окно выходило на тыловую улочку. Склады там стояли, станки под навесами. Вечером — никого, шаром покати, на целую улицу один фонарь сиротствует.

Вот при такой пустынной обстановке треснула мне по лбу козырная мысль. С какой точки ни глянешь, все клеется, все в масть. Как говорил батя: трус в карты не играет. К тому ж, два этажа под нами служебные, окна всегда темные, — тоже важно.

Я, значит, из двух рессорных полосок и ролика между ними

навесной блок соорудил. Для упора койку к окну подтянул. Веревку надежную добыл, на конце вроде серьгу сплел. Портянкой чистой обмотал, чтоб в серьге сидеть удобно было.

В один из вечеров, после отбоя, Валюша на улочку явилась. Я ей веревку вниз. Пристроилась моя красава в серьге и, как королева, поплыла по воздуху на третий этаж. Я тебе говорю — черт в юбке! Другой такой, клянусь, не встречал!

На всякий случай, дверную ручку шваброй заклинил, хоть было лишне: Акчурин под подушкой так выл, что к нашей двери нормальный человек по доброй воле не подступался.

Нам тот шум не помеха.

До часу пробыла Валюша у меня, а после, тем же путем, на землю вернулась.

Пошли у нас неудержимые встречи. И в дождь, и в ясную погоду. Бывало так и говорит: "Хоти меня." А я без намека хочу. Случались, конечно, холостые ночи, когда в наряд заступал или у ей технические неполадки. А если без помех, то жгли мосты! На здоровье не жаловался. Помню, только сна не хватало, лицом пожелтел. Но... голь на выдумки хитра. Не дело каждый вечер высматривать из окна подругу, глаза тратить, особо в туман и когда моросно. Так я для общей пользы ввел сигнализацию. Тонкий шнур с грузилом свесил до первого этажа, а другой конец к ноге присобачил. Чтоб зря не томиться. Иди на боковую, хочешь — спи, хочешь — нет, сам себе хозяин. Придет Валюша, за шнур дернет, а я задней конечностью сигнал принимаю, как весточку от желанной.

Однажды на койке свиданки жду, где-то за городом гроза готовится, грома шумят. Лежу себе вольно, только нога начеку. И вдруг приходит мне сон, что рыбу поймал. Уда тонкая, ребячья, а леска — с палец. Зато рыбина — во! Ростом, как наш замполит, но того на махонький крючок подцепи, он орать будет, недовольство высказывать, а эта молчит, лишь хвостом хлещет, рвется обратно в реку, и меня за собой, на прицепе. Я выгнулся, на глине оскользаюсь, а вода ближе подступает, уже одна нога в трясине увязла, засасывает, не выберу... Открыл глаза... так и есть: шнур за ногу дергает, — вставай, лодырь!

Темень за окном была. Приладил я подъемную систему, веревку с серьгой спустил, а сон из головы не уходит. Рыба — это к морозам, но какой мороз в мае? По небу зарницы качаются. Тяну веревку, тяжело идет, должно быть спросонья сила вялая, а сам

гадаю, к чему рыба привиделась, да еще такой породы, что не поверят.

Наконец, подтянул свою милашу, вот-вот обниму... Тут молния жигнула, и вместо валюшиных плечиков, смотрю, звезда на погоне блестит. Совсем не женская личность получается. Я веревку из рук вмиг выпустил. Не спрашивал, кого он ищет, не чикался, пальцы разжал и в окне снова пусто. Сердце, с перепугу, как колокол, бухало, даже не слышал, как он там шмякнулся.

Что я той ночью пережил, таких слов нет. Знал, с минуты на минуту придут брать меня. Попрятал по закуткам свои причиндалы, добро хоть веревка к койке привязана была, не выпала на улицу. Понимал, что напрасная затея, ведь найдут, суки, но сидеть сложа руки — еще хуже.

Ночь промаялся, никто не пришел. Только Акчурин под подушкой скулил, мои кишки на штык наматывал, я даже подумал, а не спихнуть ли его тоже в окно, за компанию, все равно: один ответ...

Утром, смотрю, офицеры сходятся, шепотню ведут, физиономии постные. Мне-то причина известна. Но непонятно, зачем в кошки-мышки играют? Неужто рассчитывают, что с повинной прибегу, по собственному почину правду докладывать? Мол, ночью ко мне офицер вместо бабы полез, пришлось сбросить с третьего этажа, в целях самообороны. Ладно, думаю, надейтесь, ждите дождика в четверг. Это дерево сперва садят, потом — фрукт зреет. А я дурак, у меня наоборот: я еще не созрел, чтоб меня посадили.

Тем временем от лишних улик избавился, в уборную перетаскал. Но легче не стало. Незнание мучило, от догадок мозги гудели. Оглянуться назад страшился, думал, следят...

Но вскоре в полку объявили про несчастный случай. Оказывается, майора Клепикова хулиганы побили. От удара нерв какой-то порвался. Ни ногой, ни рукой не шевелит. И голоса нет. Одни глаза моргают. Очень важный нерв. Зашить нельзя и склеить тоже.

Кончилась его автобиография. Накрылась амперметром.

Тревога у меня малость притихла, но до самого дембеля, как психованный, часы подсчитывал. А проездной литер получил, срочно в Макеевку завербовался, на Донбасс, по соображению — вдруг Клепиков заговорит, так под землей в шахте заховаться можно.

Валюше обещал писать, но я на письма тяжелый, и адрес где-то затерялся... На новом месте другие адреса объявились. А в те края больше я не заглядывал, не дразнил удачу.

Вот это ты в точку: выпьем, чтоб нерв не рвался!

Нет, не слышал. За все годы никого из армейских не встретил. А спроси, чего он, мудака, полез, куда не просят? Звал его кто-то? Шнур подергал — это ладно, нехай, дешевая манера, но понять можно — привык дергать. Но в петлю зачем сел, хоть убей, не пойму. Висит веревка, по мне — до нового потопа висит, не трону. А ему нейдет, во всякую щель нюхалку сует. Пока не защемили. На что он рассчитывал: цветами его встречу?..

Кто спорит, — веселого мало... Паралитику не позавидуешь. Какой ни есть, а человек, живое мясо и душа в кармане. Пусть по заслугам, пусть в грехах, как в репьях, но это не причина, боль от этого грызет не слабше.

Хотя с другого боку, за того белобрысого, за тот двор вонючий полагается Клепикову лежать бревном. Раньше говорили: за все недоброе в свой черед расплата приходит. — Не верю. Сказки для нищих. Если б так, знаешь, сколько их вниз бросать надо, не с третьего — с восьмого этажа, — этажей не хватит! Оттого, видать, они дачи строят, чтоб не высоко было. Не спорь, парень, никакая это не расплата. Просто, не повезло, плохо приземлился. Не по инструкции.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. УБИЙСТВО НА БУЛЬВАРЕ БЕН-МАЙМОН

В первую книгу бывшего ленинградского, ныне иерусалимского журналиста вошли повести "Похороны Мойше Дорфера", впервые рассказывающая правду о Биробиджане, и "Письма из розовой пап", или убийство на бульваре Бен-Маймон", насмешливо и весело изображающая жизнь советских евреев в Израиле.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 5 долларов, за рубежом 10 долларов. Чеки и заказы принимаются по адресу:

"Foundation Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

У нас в Кунцеве в начале тридцатых годов очень боялись цыган. О них говорили, будто бы они крадут детей...

Каждый раз, когда я об этом слышал, то все пытался понять, что было потом с теми детьми, которых украли, а значит будет и со мной, если меня украдут. Но сколько я ни пытался заглянуть в ту, новую, уже цыганскую жизнь, которая начиналась сразу же после кражи, я ничего не мог разглядеть, кроме какого-то красочного пятна в виде материала, из которого цыганки может быть кроили свои платья...

Особенно опасными были летние месяцы, когда весь воздух вокруг был окрашен в зеленый цвет листьев и травы. При некотором удалении от дома эта зелень делала людей совершенно невидимыми... Едва я куда-нибудь исчезал, как меня немедленно начинали искать. А найдя, всегда строго спрашивали: где ты был?

Голубые, светящиеся глаза моей мамы и коричнево-смешливые глаза ее сестер, моих теток, следили за мной отовсюду. И все-таки, несмотря на это, я часто куда-нибудь пропадал, вызывая тем самым некоторый переполох в нашей семье. Иногда причиной этому могло послужить самое обыкновенное недоразумение...

Израиль Теплик

ГДЕ ТЫ БЫЛ?

Например, однажды в знойный летний день я случайно оказался внутри старого рассохшегося шкафа, который зачем-то вытащили из дома и поставили во дворе. Темный воздух внутри шкафа был исполосован зелеными нитями света, в котором медленно двигались звезды. Не найдя достаточно убедительного объяснения этому явлению, которое возникло предо мной без всякого участия взрослых, я в конце концов сладко уснул, утонув в тряпье, брошенном на дно шкафа. Я проснулся от гула голосов, в котором сразу же различил по-особенному звенящий в минуты волнений голос мамы.

“Как же это так и что же это такое, — кричала мама, — когда в ясный день на глазах всей улицы из калитки выходит ребенок и совершенно никого не интересуется, почему этот ребенок гуляет один, без взрослых, сам по себе?.. Я вас спрашиваю: разве это нормально? Разве это по-человечески?”

Но мама, конечно же, ошиблась, потому что едва я с шумом вывалился из шкафа, меня увидели сразу все.

“Смотрите, смотрите, вот он!” — радостно закричали собравшиеся у нашей калитки люди.

“Где ты был?” — подбегая ко мне, строго спросила мама.

“В шкафу” — тут же ответил я.

В тот раз краткость и ясность моего ответа почему-то не были вознаграждены, как обычно, лаской и прощением, что меня очень удивило. Страх холодил глаза мамы изнутри, и этот холод передавался мне, невольно вызывая в памяти разные страшные и таинственные обрывки взрослых разговоров...

“Ах, боже мой, что значит “ребенок больше не мог сидеть в сыром и душном погребе”? Если надо сидеть, так надо сидеть, какой может быть разговор! Но что можно сделать, если люди от любви к собственному ребенку становятся просто сумасшедшие? У них, видите ли, рос будущий Эйнштейн... Ну так что? До этого следовало еще дорасти. Тем более надо было держать ребенка всегда при себе, не отпускать его ни на шаг. Какое несчастье, ах, боже мой, какое несчастье, чтобы за несколько глотков свежего воздуха взять и потерять такого ребенка...”

“Зачем они его потеряли? — спрашивал я самого себя со страхом. — И куда потом этот мальчик делся?”

“Да, это были дикие, кошмарные времена, — говорили взрослые, — хуже этих времен уже ничего невозможно придумать...”

“А в Испании в инквизицию разве было легче?”

“Нашли что вспоминать... когда это было... в средневековье...”

“Но отчего так пугается мама, когда теряет меня? — думал я. — Может быть эти времена еще не кончились, может быть они все еще продолжаются?”

Вот почему едва со мной что-нибудь случилось, я всегда старался как можно точнее ответить на вопрос “где ты был?”

Из этих вопросов и моих ответов на них мы с мамой словно бы строили изгородь, через которую мне ни в коем случае не следовало переступить...

Если бы когда-нибудь нам удалось сомкнуть концы этой изгороди, это значило бы, что я нахожусь в полной безопасности...

“Где ты был?”

Это случилось после моих долгих раздумий о природе силы инерции. Я никак не мог согласиться с тем, что существуют силы, которые совершенно невозможно увидеть. И тогда я решил на всем ходу прыгнуть с карусели, которая была установлена у нас в городском парке. В результате, совершив несколько сложных движений рядом с вертящейся каруселью, я был отброшен к дереву, о которое сломал руку. На мамин вопрос я ответил: “В парке.”

Или вот, например, я вышел из кино, где была показана драка, каких я не видывал ни разу в жизни. Такую драку я мог бы смотреть с утра до вечера и, покидая кинозал, все равно остался бы неудовлетворенным. Такое же чувство неудовлетворенности, когда закончился сеанс, как оказалось, испытывал не только я один. Поэтому каждое неосторожное слово способно было зажечь в наших сердцах точно такой же пожар, от которого в этой кинокартине дотла сгорел американский город Орлеан.

Это слово, конечно же, не заставило себя долго ждать, после чего началась коллективная драка, в которой я некоторое время пытался играть самую центральную роль.

“Где ты был?” — простонала мама, разглядывая одну часть моего лица за другой.

“В кино”, — ответил я.

Во время войны каждый месяц я терял два дня на посещение бани. Очередь в кунцевскую баню была подобна змее, которая плотными кольцами сворачивалась в просторном предбаннике, держа свой хвост на лестничной клетке, а в самые неудачные дни даже на улице. Стремясь рационализировать эту банную процедуру, я нашел в конце концов баню, где можно было мыться

вообще без всякой очереди. Правда, добираться туда нужно было по железной дороге. После первого посещения этой бани я с радостью установил, направляясь к железнодорожной станции, что выигрываю несколько часов. Однако на самой станции меня ждало разочарование. Временно было приостановлено движение пассажирских поездов, и я до позднего вечера наблюдал, как движутся в сторону фронта укрытые маскировочной тканью платформы с танками и орудиями, а обратно — санитарные поезда. Домой я добрался уже в темноте на подножке товарняка.

“Где ты был?” — тут же закричала мама, едва я вошел.

“В бане”, — ответил я.

“Не в этом дело, — сказала мама, — иди лучше посмотри на себя в зеркало”.

Я подошел к зеркалу и не узнал себя: от паровозной копоти я стал чернее негра...

Когда я так подрос, что папины брюки стали мне коротки ровно на полторы манжеты, было решено сшить мне мой первый костюм. Костюм шили из матово-черного материала у портного, который шил костюмы еще моему деду.

“Могу представить, какой это был бы богатейший костюм, если бы в нашей жизни ничего не изменилось”, — вздохнул портной.

Поначалу никаких особых предчувствий праздника при мысли о первом моем костюме у меня не было. В конце концов его можно было купить в магазине, освободив меня тем самым от утомительных примерок, которые сопровождались громким сопением портного.

Какой огромный праздник наступил в моей жизни, я понял лишь тогда, когда костюм был совершенно готов и портной подвел меня к зеркалу... Строгие линии костюма помогли мне увидеть, как широки мои плечи, как стройны мои ноги, как нежна и бела моя шея, как серебрист цвет моих еще не тронутых бритвой усов, как спокойно мое лицо.

Я словно бы впервые сам себя увидел, и понравился себе.

“Мне хотелось бы так и поехать домой, — сказал я, — прямо в костюме...”

“Я прошу простить меня, — улыбнулся портной, — но все-таки мой главный заказчик не вы, а ваша мама, и поэтому именно ей я обязан представить заказ в упакованном виде, а дальше носите его на здоровье, когда вам угодно и где вам угодно... Дело в том,

что для меня каждый выполненный заказ все равно, что ребенок, и я о нем беспокоюсь”.

Как вскоре выяснилось, оснований беспокоиться именно о моем костюме у портного было даже больше, чем он предполагал...

Кому приходилось ехать в поезде, который, как мы об этом узнаем уже в дороге, не останавливается на нашей станции, тот знает, как невыносимо долго тянется время до полной остановки. Появляется такое ощущение, будто бы во всей нашей жизни вдруг образовался какой-то чудовищный провал. Именно это чувство я испытал, когда обнаружил, что товарняк, на котором я возвращался от портного со станции Фили, не притормозил, как обычно, перед кунцевскими платформами, а наоборот, стал резко набирать скорость. На всех парах он промчался мимо станции, разрезав ее, как арбуз, на две половины, и арбузными черными косточками мелькнули люди, стоящие на платформах...

Когда у переезда за темно-коричневыми стволами тополей я увидел свой дом, мне показалось, что поезд уносит меня в такую бесконечность, откуда может быть вообще нет никакого возврата. И еще я подумал о том, что если теперь не прыгнуть, то дальше скорость будет так велика, что сделать это, при всем желании, станет уже невозможным...

И тогда, крепко прижимая к груди сверток с костюмом, я мягко сошел с подножки. Однако земля, едва я ее коснулся, вместо того, чтобы так же мягко принять меня, стала больно бить меня по ногам, подобно тому как наждачный круг ударяет по предмету, который мы затачиваем, если он прижат к нему неумелой рукой. Я словно бы бежал вперегонки рядом с грохочущими у моего плеча вагонами. Мои шаги все более и более убыстрялись. Земля изгибала меня, делала форму моего тела более подходящей для этого стремительного бега, пока наконец я весь не изогнулся и сам не покатился по земле колесом. Я отчаянно увертывался от вертящихся возле моего лица колес, пока не накатился на рельс соседней колеи, ударился о него и уже распрямленным свалился в выемку между шпалами. Тело мое дымилось кровью, со всех сторон ко мне бежали люди, сверток с костюмом лежал рядом...

Когда, весь перебинтованный, окруженный терпким иодовым запахом, с шевелящимися клочьями штанов, я явился домой, то оказалось, что ради моего первого костюма мама пригласила гостей на небольшой семейный праздник. Гости уже сидели за

столом и с нетерпением ждали меня. Все они встали, когда я вошел в комнату. А мама, чтобы не закричать, прикусила свои пальцы, чего раньше никогда не делала.

“Где ты был?” — скорее понял, чем услышал я глухой стон, вырвавшийся у мамы из груди.

И я ответил: “У портного”.

Вот точно так же с прикушенными пальцами вошла мама в комнату свиданий Бутырской тюрьмы, куда незадолго перед этим меня привезли из другой тюрьмы, из Внутренней...

Нас разделял двойной ряд сеток. Между сетками, словно маятник, взад-вперед ходил надзиратель. Одновременно со мной на свидание привели еще четырех зеков, и для того, чтобы быть услышанным, надо было громко кричать.

“Ма-ма, ма-ма, я здесь учусь, если бы ты только знала, какие нам здесь читают лекции! — кричал я. — Вчера была лекция по теории вероятности, а сегодня по математической логике... И лекции эти нам читают очень известные люди... профессора, доктора наук... ты слышишь меня, мама, слышишь?”

“Слышу, слышу”, — отвечала мне мама, скорбно покачивая головой...

* * *

Давно уже (словно бы движение в воздухе) растворилась во времени та изгородь, которую когда-то так старательно строили мы с мамой. Через несколько лет после того мама умерла.

Я знаю, что после смерти ничего не будет. Когда я вглядываюсь вдаль, то вижу там темное пятно из материала, который не годится ни для одного платья. И все же бывают минуты, когда я вдруг снова начинаю верить, что душа, которая живет во мне, останется жить и после моей смерти. И что в самый последний миг моей жизни, когда я начну терять память, начну терять себя и потеряю себя, передо мною вдруг вновь тихо вспыхнет зеленоватый и свежий — как летнее кунцевское утро в детстве — свет...

И тогда я снова увижу протянутые ко мне руки мамы и услышу: “Где ты был?”

И я ей отвечу: “На земле...”

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ: НОВАЯ ПРОЗА, СТИХИ, ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

СТЕБАНУТЫЕ

Спать на земле, пусть и с травой, он — всю жизнь городской — не умел: подпирало его мелкими комками, покалывало сухим и островатым; раздавился некий сочный росток — и ткань рубы, на лопатках, в локтях, увлажнилась. Он перелег, — но тогда заще-котала его невидимая живность. Озлясь, он крутнулся всем туловищем, растирая кого-то насмерть. Невнятно хрустнуло — и правый бок ему пробило ужалом, мгновенно распространилось в кольцо, кипящее вередением. Он вскочил и затопал по темноте, стремясь отомстить — то ли жужелице, то ли медведке. Топал до тех пор, пока голову не повело.

Тричетвертная луна в мандроле, заслоенная облаками, светила самой себе.

Он притянул рукав к ладони, для чего пришлось расстегнуть пуговицы ворота, — роба малого размера, — и размел туда-сюда по вдавлине-постели нападавшие с ближних деревьев ошметки коры, развилочки с пропащими семенами, непонятные клочки. Внезапно забелело: то был газетный ком, им же, лежащим, расплющенный. Поднял, надвернул — открылись осколки баночного стекла и гнилые остатки снеди. "Ебанырот! — он киданул гадость от плеча по восходящей, как на спортплощадке, и ком с хлюпом расшибся о невидимый ствол — частью осыпалось, частью полилось. — Ну нахуя ж, блядь, сорить?!"

Безответно.

От главной трассы он устранился километров на одиннадцать — и был при подходе к Дергачам. В шесть часов утра он залезет в электричку до Замостья. Там — сойдет, и через кладки, — и через кладки до Грайворона, где на Войкова 44 живет старший брат Коли Олотарцева с матушкой, — проводником работает. Тот брат подсадит его в пассажирский "Москва-Сочи". Так дайте ж ходу — да пароходу, так натяните ж паруса, так дайте ж мальчикам свободу — да много женщин и вина — я парамела, я чипорела, я сам-сам-сам-сам тери-тури-я, — гоп! я парамела, — стоп! я чипорела, мать Россия родина моя.

Он спал на земле, а сон ему снился каменный, с багровым под-светом.

Он царапился вверх и тащил за собою сестру, одетую в поддуваемую снежную ночную сорочку с кисточками на поворозках у горла, и они взошли на скальный приступок, — там лежала покрытая до начала волос, и он очутился над ней, стянул простынь — оголил, творил, что хотел, потому что она не могла сопротивляться, и подсвет дал ему увидеть — кто, — и, не желая знать правду, он сорвался в глубокое, узкое — и оно счесывало ему щеки, сди-рало веки, и он скулил, скулил, — а будить его было некому: не дома он был, не у товара на хате, не на волыне, не в камере пред-варительного заключения, не в жилой зоне, — но в лесу, в побеге...

А чего он рванул — без понятия.

До того, как повязали его — остальные разбросались, — он был тупой как сибирский валенок. Дежурный ментяра сказал: "Надо сначала оглянуться, потом перднуть. А то ты сначала перд-нул — а потом оглянулся", — и последним поджопником вбил его в камеру. В камере уточняли на спор: кто правильно пишет слово "Мао Цзе-дун". Предложивший так сыграть, повторял: "Из двух спорящих кто-то дурак, кто-то подлец". Почти все рисковать отка-зались, легли на пол, уменьшились под одежей. Лишь самый взволнованный согласился — и развез ногтем по цементу: "Мау-Дзэ Дун"...

— Ну — так что мне сейчас с тобой сотворить? — спросил не ду-рак и не подлец. — Мазали на американочку? или я тебя неправиль-но понял? не! я тебя правильно понял. Что ж ты гнал, как будто ты старшим мастером работаешь?!

И целый час не мог успокоиться.

— Я, чтоб ты знал — специально! спе-ци-аль-но для тебя замазал. Чтоб ты не гнал по-черному. Ты меня, конечно, извини, что я тебя облажал перед людьми, но — ты меня извини — не надо дуру гнать. Ты так раз — раз! — в зоне погонишь — и тебе дупло на шестиклинку расточат.

А зона — учреждение — две буквы — номер — дробь — номер, куда попадали за дурные и неожиданные истории: по порядку поведать немыслимо, невозможно... Нич-его себе, сказал я себе, — и Валек Иванько, обу-тый в калоши, примотанные к ступням изолентой, заводился: "А Сереня — бухой! Я сразу за те уголки, а она: "Мальчики, мальчики, куда ж мы идем?", а Сере-ня — бухой! к тете, говорит, — она тык-мык: "Где ж тетя, мальчи-

ки?», а Сереня — бухой! Тихо, говорит, тети дома нету, накрылась...”

Со сроками от шести месяцев до двух лет общего режима — в основном на участках СМУ-63 дым грузят.

... Замедленно кувыркаясь, он падал сквозь время сна, — собственный голос не пробуждал, — покамест не ударился о дно видения. Подскочили и сотряслись печенки-селезенки на своих слабых тяжах — возвернуло его на грунт подлеска к четверем с небольшим пополудни.

Встал, промялся.

Крапивные заросли, если войти в них, достигали груди; крапива — на широких древеснистых стеблях, была почти черною, с крупитчатым блеском, словно драли над нею чугун напильником, — окружала тяжелую лужу, поддерживаемую ручейком. Приподняв руки, чтобы не задеть жестокое растение, он старался достичь воды у исхода. Но лужа не подпускала: ручей заполнял ее низком, далеко от глиняковой кромки, где бы можно было еще удержаться, не притопив обувь в жиже.

Ни напиться, ни умыться.

Попримерявшись, он отступил, — и затеял окатывать крапиву мочой, от чего прочухались крупные темножелтые комары, воспарили вялым столбком, разбираясь, что за дела. Он не дал им додуматься и попереть на него всей тучей — побежал.

Дряблый подлесок смердел сырым углем. Валялись зубристые жестяные обрезки, какая-то сальная ветошная пучня, покоробленные щепастые фанерины с остатками покраса, с изуродованными гвоздями торчком — тарный сор.

Тропина, избранная им, поднималась исподволь в гору; грунт становился рассыпчатей, ноздреватей, росли сосны. Он присел, достал из кармана куртки упаковку “Памира”. Две сигареты. Осторожно извлек более плоскую, раскрутил — бумагу проколол табачный шип. Из кармана штанов он вынул торец спичечного коробка, надломанную спичку. Сосредоточился — и зажег. Вобрал дым. Язык его тут же подплыл соленой предблеводной слизью. Он чуть было не выбросил блядскую вонючку, но сообразив, что со вкусом скурит ее позднее, вылушил раскаленное ядрышко, а едва укороченную сигарету вернул на место. Харкнул, но плевок, не отделяясь от нижнего рубезка губы, закачался на удлинняющейся густине. Он свел каплю пальцами, стряс, — и глядел, как серопузые лесные мухи собирались многоконцевой звездочкой вокруг

точки съедобной дряни... По грубому песку блуждали, прихрамывая, муравьи; промеж ними тынялся клоп — "солдатик" — алый, в черном крапе, как нарочно.

Денег было — пять рублей, и он уже прикидывал, что закупит на станции пирожков с ливером, две бутылки сидро — всего на девяносто восемь копеек. Поев и попив, сдаст бутылки обратно в ларек: двадцать четыре копейки. А "ноль-семь" наберет в Грайвороне, по пути к проводнику — старшему брату Коли Олтарцева.

Он шел еще минут пятнадцать, шел неспешно, наметив спуститься к электричке, к самой платформе, приблизительно в шесть, когда работяги, одетые вроде него, поедут в город уродоваться. Никто не заметит, как двинет он наискосок, гася склон последнего холма, как одолеет гипсовую загородку, как сквозанет через рельсы — к вагонам. Так запрягай, отец, лошадку, — да сивую-косматую, так я ж поеду ж в ту деревню — и девушку засватаю, — я парамела, я чипорела, я сам-сам-сам-сам-тери-тури-я...

А погонятся за ним не раньше семи — когда официально засекут: на работу не вышел.

... В нескольких метрах от него торчал рейчатый забор — восход блестел на олифе. Зеленого цвета — оттого и не обратил внимания, подходя. Года три назад он тасовался здесь на вылазках, тогда не было загорожено, — или не запомнил? Почти вплоть за штакетами, отделенная лишь узкой канавой, высилась проволочная сетка крупного набора, растянутая меж заколоченными в дерн арматурными прутами, сваренными по двое. П/Я какой-нибудь заделали, воинская часть?

— Эй, мужик, — произнесли — сипя и странно подшептывая, отчего получилось: "фушихх", — шо ты чухаешь — не бзди...

Засунувшись в разрыв сетки, звала его к себе вздутая синерозовая башка-чан, как бы прикрепленная к потертому дерматиновому кулю на досчатой раме с подшипниковыми каталками. У самой шеи болталась рука — ладонь ее, в роговых, как на пятке мозолях, просила дать курнуть...

Он долго искал карман, перекладывал из щепоти в щепоть свои полторы сигареты.

- Последняя? — огорчился чан.
- С бычком.
- Шо есть — то есть.
- Спичек ма.

— На кухне ебнем.

Он свернул “Памир” плотным пакетиком и вбросил его в дыру. Пакетик попал чану в лоб, отскочил и свалился в яму. Чан заскрипел своею рамою, стараясь продвинуть пальцы под испод сетки. Куль накренился, подшипники заелозили, отъехали — и чан тюкнулся подбородком в проволочные концы на границе разорва. Три кровяных черка открылись на шкуре.

— Не достаю...

Забор поднимался не выше переносицы, но для перелаза был неудобен: штакетины сближены так, что ногу на перепонку не установишь, а подтянуться за острые углышки — больно. Он, однако, перелез, подобрал курево. Чан смотрел на него снизу вверх, и он присел перед ним на корточки. Глаза у чана заросли диким мясом до райков.

— Благодарю, — вздохнул чан. — Блябу’благодарю.

Развернулся на месте, вновь едва не заваялся, покати́л, по возможности склоняясь для равновесия.

* * *

Он обходил платформы поверху, чтобы подобраться к смыку песчаного горба со станционным настилом. Там, правда, горб усечен бульдозером отвесно, — и он бы оттуда сначала понаблюдал, а сполз — на ином, постепенном участке.

Ропот станции — так он был близок — распадался на человеческий и машинный, на скрежет и перекрик. Возле самого спада держалась косая сосна — корнями вне почвы процентов на шестьдесят. Он свел пальцы на ее стволе замком, чуть отпихнулся и подвис: закрепленные в толевой крыше билетной будки, выдавались вперед барабанообразные часы — без восемнадцати шесть. Народ перемещался по платформе, угадывая наикратчайшее расстояние до дверей не подогнанных покуда вагонов. Ему появляться не следовало: рано.

Вернулся, прошелся...

У растопыренного куста, жидко простеганного паутиной, топталась баба — в тренировочных шароварах под обмякшим платьем, в прорезинках без шнурков, — вывалились наружу запачканные белые язычки.

Он шагнул к ней, искобенился, — и все горячее и легче стягивало ему под животом, все точнее и четче пощелкивалось большим пальцем о средний; имелась бы у него сигарета — подкидом вы-

летела б из пачки, и прикурил бы особо: не спичкой по коробку, а коробком по спичке — умел! От снежных бедер к ногам я снял капрон, и задыхаясь мял груди бутон, легла под кленом ты в тень, спиною мяла сирень, — я полюбил бы тебя тогда сполна, но разлучила нас с тобой тюрьма...

— Близко познакомимся с симпатным цветком.

Светлосливые десна ее открылись по хрящ — резцы залиты, а на клыках вывернуто лунками.

— Хорошо нам с тобой идти по ночной Москве, — лепетал он, подталкивая ее, загоняя обратно в подлесок, и она шаркала, перемещалась. — Нам бульвары на всем пути открывают объятья...

Он поглаживал ее, прикасался, наконец сунулся к ней между ляжек, отчего она заплуталась и рухнула, — и он опал рядом с ней, прихватил за бурые, неравномерно укороченные прядки, вминая лицом в свою паховину. Она выпрастывалась, мычала. Секунду передохнув, он завалил ее на четвереньки, отвел подол к затылку, стягивал с нее тренировочные, теребил соски. Она отползла. "Снимай трусы, проститутка, не ставь из себя целку!" — заголосил он. Его корчило напробой, ноги сами по себе вздергивались, предплечья взлетали. Сердце ухало, ныряя в ледяное молоко.

Он не пойдет никуда, не поедет, отманит ее туда, где спал ночью. Будет менжеваться — задавит. А потом доберется до межрайонной автобазы — там дед стережет с АКМ-ом старого образца. Зачешем — как захотим.

— Как тебя зовут?

Зевом выточилось из нее, словно отыгнулось:

— ... э-эн-ы-к'а.

Она была из-за той сетки, из-за того зеленого заборчика...

— Ленка?

— ... а.

— Леночка?

— ... эн'чк'а...

Нечто металлическое, пустотелое, гулко угнулось, кратко звякнуло под пинком. Сказали: "Всю природу изувечили к ебаной матери. Прямо сюда завести их всех и расстрелять. На удобрения." И невпопад загигикали, заорали: "Вот бинты-зеленка, всем я насыщен!". Раздался липучий хлопок — по неодетому, затем рыдание: "Я больше не буду, Анатолий Макарович!".

Шли.

Он свел ее лицо с себя — в челюстях она была вдвое шире, чем

в висках, ноздри — врозь, — приподнял, и они полуползком добрались до пышной орешины. Ужасаясь, он отклонил ветвь: трое. Мослистый, устремленный, в сизой майке, высокий; явный ментяра в форменных брюках, но в гражданском глухом пиджаке, без фуражки; и тестяной трепыхающийся пацан — такая же, как у высокого, майка, только с прицепленными яркими значками и конфетными бумажками, выше локтя накинута красная повязка с надписью "САНКОМИССИЯ"; на шее у пацана висела брезентовая котомка, мотня зияла.

Приостановились. Ментяра достал папиросы. Пацан сплыл на короточки, оцепенел. Длинный поигрывал чем-то вроде гигантской мухобойки: к обработанной деревянной держалке прикручена проводами резиновая плена, вырезанная из ската.

— Так как она?.. — ментяра хотел бы присесть: поворачивался, искал к чему прислониться.

— Это дежурного по отряду надо спросить, — высокий удумал загасить окурочек о пацанову голову, но перерешил — заслюнил и отбросил.

Пацан, — он-то и был, скорее всего, дежурный — поднял к высокому морду.

— Вот бинты-зеленка, всем я насыщен, вот бинты-зеленка...

Высокий ляпнул его мухобойкой по глазам, — пацан скрутился, завыл.

— Ой, Анатолий Макарович, не буду, честное интернатское!..

— Уловил? — обратился высокий к ментяре. — Так они и жили. А я, должен тебе сказать, по образованию санитарный врач, сангиг. Правда, я у них две ставки имею: преподаватель физвоспитания и старший вожатый... Не знаю, как она свалила. Она нахуй никому не нужна, вторая степень слабоумия, а мне плешь потом проедят: невдобняк, у нее мать есть, приезжает...

— Она это? идиотина? — спросил ментяра.

— Им-бе-цилл она, — высокий пощурился, потыкал пацана носом штилеты в мягкую спину. — Он вот — дебил, она — имбецилл, а идиот... Это вообще. Не говорит, не понимает ни хуя, не ходит даже обычно... У нас они двух типов: с врожденными умственными и с врожденными физическими.. Все вместе. Если родился без ручек-ножек, так что — мозги нормальные могут развиваться? Хуя.

— Может, их лучше усыпить? — ментяра возбудился от интересного, ранее неведомого.

— Смотри: согласно инструкции Минздрава, имеющей силу

законодательства, — возразил было высокий, но тут пацан принял-ся скрести ногтями землю, задундел, поднял пыль — и высокий отвлекся, недоразъяснив.

— Как кошка — говно зарывает, — улыбнулся ментяра.

— Ну! он у нас профессор, председатель санкомиссии. Мануйленко, когда в столовую с грязными ушами идут, что ты делаешь?

— Наказую...

— Обратил внимание? — высокий взмахнул своею мухобойкой, и пацан, изготоясь, схватился ладошами за губы и нос. — В какой-то степени.

Они не решались идти дальше, начинать какие-то серьезные поиски, погоню и прочее... Еще папироса была откурена вплоть до картона.

Пошутив с пацаном, высокий вдруг закричал:

— Лена, иди сюда!

Ментяра и пацан засмеялись.

Высокий крикнул громче и злее "иди сюда", и когда ментяра тронул его за плечо, советуя не стараться, отмахнулся от него — и взревел:

— Иди сюда, пидарастка!!

Она заворочалась. Делать было нечего. Он лишь скорезился и убрался поглубже в куст, а она, пошатываясь, распрямилась — и вышла на открытое место.

— Вот бинты-зеленка, всем я насыщен, — старался пацан.

Высокий хлестанул ее дважды, словно перечеркнул. Она заурчала, зафыркала.

Побили ее минут пять все втроем и ушли, а он — лежал недвижимо.

Завтра утром уйдет.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Ю. МИЛОСЛАВСКИЙ. УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА.

225 стр.

Опубликование этой горькой повести об эмиграции вызвало бурю возмущения в эмигрантской печати. Это возмущение не помешало мно-гим признать безусловный талант и искренность автора.

Цена книги в Израиле 5 долларов, за рубежом — 10 долларов.

Заказы направлять по адресу. "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

СТИХОТВОРЕНИЯ 1978–81 ГОДОВ

НА УСМИРЕНИЕ БУНТА В РАМАЛЛЕ

...а первый мой сержант — он родом из Танжера.
Второй — из городка, чье имя Вавилон.
С пяти утра кипит смола и сера,
блюет Господь расплавленным стеклом.

На ведьме с перебитым помелом
пылает платье школьного размера.
И — дабы в нас не оскудела вера —
гвоздим врага пластмассовым жезлом.

Под сучий вой архангельской трубы
в луженой жести красные бобы
мы с мясом пополам перемешали.

Из дома взятый, пригодился йод.
Вторая стража вскоре подойдет,
Чтоб нам одним не ужинать в Рамалле.

КУРОРТНЫЙ РОМАНС

На катерке по имени "Жасмин"
уйдем с тобой в прогулку часовую;
сведи, любовь — обходим вкруговую
чреду буйков из древнерусских мин.

Я знаю — лимонад в буфете есть,
крепленное вино с одной медалью;

соль подсластить, что мы с тобой глотали,
вели, любовь,— чего тебе принести.

Скажи, любовь, что хорошо со мной;
мол, неспроста под лунною полтиной,
сквозь влажь да блажь поет о море синем
по-басурмански раструб жестяной.

* * *

Меньше медного гроша
в ледяной денек базарный,
единенная душа
горней видится и зарней.

А на дне — стоит вода
в плошке глиняной копытцем.
До решения Суда —
не испить, не утопиться.

Только ветер — и мотор
таратаечки незрячей
онемелый коридор
белой мерой обозначат.

В АЛЬБОМ

Кабы темней, кабы пустынной,
кабы добрей, кабы подвздошной, —
не забоялся бы. И ты не
палила б ранкою ладошной
под самым пальцем безымянным,
где наши кольца мы носили,
посадским солнцем оловянным
злачение, — еще в России.
Еще в любви и в надежде,
в наколке — голубой, крестовой.

Ах! кабы нам оттуда прежде,
ах! кабы нам туда — по-новой.

Отдыхают глаза, соблазнясь удаленным предметом,
перепутанным в пятна.

Мы с тобою отсюда свалили бы нынешним летом —
так сказать, безвозвратно.

Мы с тобою весьма и весьма бы еще посмотрели —
кто кого переборет.

Но по ряду причин доигрались мы до непареи
на губернском заборе.

Виноват — не простил. Не избавил тебя от боязни.

Не изыскивал брода.

Мы с тобою сполземся — друг-друге зализовать язвы
на виду у народа.

ИЕРУСАЛИМ-ХАМСИН

О грады, где торги, где мозго-круглы браги...

Михайло Ломоносов

Так солон прах во Иерусалиме,
так золотой хребет его щербат,
что ни шербет в каленом каолине,
ни кофе тяжкий нас не отрезвят, —
но жажду подчеркнут неутолимай.

Нам очи застит слюдяной обрат:
не видят гор ни к а д и, ни а б б а т,
ни сей х а с и д в дырявой пелерине.
Коснись камней — и высохнет рука.

Глава дурная — ком известняка
с гашишною цыгаркою в провале
чумного рта, — а ну-ка! покатись
по городу, где верх — под самый низ,
где жизнь и смерть мы равно потеряли.

АВТОПОРТРЕТ В 36 ЛЕТ



Юрий Милославский родился 30 сентября 1946 года в Харькове. По образованию словесник, окончил филологический факультет Харьковского университета. Специализировался на языке русской литературы первой трети XIX века (дипломная работа "Лексико-стилистические особенности дружеской переписки А. С. Пушкина"). С пятнадцати лет работает (грузчик, лаборант, трамвайный контролер, наборщик в типографии, актер кукольного театра; последние перед эмиграцией годы — корреспондент местного радиовещания). В ранней юности был связан с уголовным миром Харькова.

Писать стихи начал в шестнадцать лет и вскоре оказался одним из активных участников неофициального литературно-художественного "кружка", объединяющего неконформистскую интеллигенцию (Б. Чичибабин, Вл. Мотрич, Л. Пугачев, В. Бахчанян, Арк. Беседин, Э. Лимонов и некоторые другие). Стихи и шуточные рассказы Милославского распространялись Самиздатом; в печати он не появился ни разу.

Эмигрировал в 1973 году.

После эмиграции занимался журналистской работой (до нынешнего времени), однако художественные сочинения начал публиковать только в 1978

году, когда журнал "22" в своей третьей книге поместил первое прозаическое произведение Милославского — первую часть романа "Укрепленные города" (полностью роман вышел в издательстве "Москва—Иерусалим" в 1980 году). Это первое выступление Милославского в широкой печати принесло ему известность, вызванную остротой его писательской манеры и "скандальной тематикой" его романа. Вскоре один за другим начали появляться рассказы писателя, упрочившие его место в новейшей русской литературе.

В настоящее время Ю. Милославский работает над новым романом "Сведения, исходящие от Петрова", готовит сборник рассказов.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

— Юрий, формальную биографию вашу читатели уже знают. А как развивалась биография творческая? В "жизнеописании" здесь какой-то провал: "писать начал в шестнадцать лет", а "публиковать только в 1978 году". Как повлиял на вас этот перерыв?

— Почти десятилетний перерыв в сочинительстве — с 1969 по раннюю весну 1978-го — свое дело сделал: в прозе я не знал явного "ученического" периода, он проскочил как-то свернуто, в голове, не попав на бумагу. Это не значит, разумеется, что я, так сказать, мгновенно стал писать "зрело", нет, — но мне не пришлось "развиваться": как начал, так и пишу — и надежд на особое улучшение и подъем не имеется. Не пришлось мне побыть "молодым прозаиком". Просто отмерла большая часть стихов, и заработали какие-то другие механизмы, ответственные за прозаические тексты...

Как поется в уличном романсе: "За эти десять лет немало, горемыка..." Но это уже совершенно не лезет в "плоскостное" описание-автобиографию. Как, впрочем, с трудом лезет и в прозу: в своем первом и единственном покуда романе я едва-едва коснулся, как там сказано во вступительной главе, "накопленной за последние десять лет информации". Видно, — еще рано. Хотя и сегодня это "великое десятилетие" крепко на меня давит, и в самое ближайшее время мне предстоит за него взяться, — уже не "конспективно" и фоновое, как в "Укрепленных городах", а подробнейшим образом, — иначе будет сложно сочинять что-либо иное. Я, признаться, надеялся, что "отмахнусь" первым же двухсотстраничным романом от всего сразу, но так не вышло...

— Чем был для вас в творческом и жизненном смысле переезд в Израиль — этапом, рубежом, переломом, крахом иллюзий?

— Рухнувшее мне на спину понимание меня чуть было не раздавило, — как заметил в своей статье А. Воронель, — но никакого крушения иллюзий не было. У меня вообще не было “иллюзий”, у меня были *обстоятельства* (Тынянов о Грибоедове — словами Пушкина). Мое путешествие в недра “среднего класса” было счастливо прервано в самом начале, — так что обжечься насмерть я не успел — только волоски попалило. Теперь самое главное — прожить более-менее двухзначное число лет — и все успеется, все станет на свои места, все пойдет в книги. Пойдет в книги наша “третья эмиграция—репатриация”: осатаневшие от сексуально-материальных возможностей стоматологи — астрологи — филологи; наши Алексеи Мересьевы в “антисоветском варианте” — с их мемуарами о героической потере ног (причем, на самом-то деле ног либо вовсе никогда не было, либо — потеряли их под трамваем по пьяному делу, либо — ноги целы, но положение обязывает), советские специалисты — публицисты — журналисты, — разоблачители ужасов “режима”, каковой — по странному стечению обстоятельств — самих разоблачителей — *миновал*, позволил им стать незаменимыми, ответственными и выдающимися и в этом качестве прибыть на новые земли; кипучие и деятельные патриоты, активисты, деловары, советологи, “жидологи”, славянолюбы и славянофобы, — короче говоря, весь “средний класс”, сорвавшийся с цепи во всем мире... Где-то Бродский пишет, что, мол, у Достоевского все романы — о среднем классе (Бродский устанавливает принадлежность к этому самому среднему — по годовому доходу). Более того, русская литература будто бы постоянно интересовалась средним классом. Это не совсем так. И Достоевский, и Толстой, и более близкие нам по времени авторы занимались средним классом тогда лишь, когда “представители” его попадали в непредвиденные, нетипичные для этого класса обстоятельства: как, например, у Ивана Ильича, — или шинель украли... Или, скажем, нечистая сила их одолела: Воланд со свитой прибыл в Москву. Все это ситуации для среднего класса экстремальные — и мне представляется, что таким образом наши сочинители “мстили” среднему классу за ужас и отвращение, которое он, класс, вызывал у писателя, и — одновременно — как бы “получали возможность пожалеть” бедняг... Теперь положение изменилось, но не слишком, если не считать того, что средний класс составляет подавляющее большинство читателей — и покупателей. Для среднего класса пишут романы, для них же — экранизируют, для

них создают картинки и "концепты" — все для них... Отсюда и сложности. Наконец, средний класс и сам пишет, создает идеологические и нравственные установки. Да вот, в вашем же журнале некто делится впечатлениями от мемориального комплекса, построенного в Испании местными политзаключенными, — и резюмирует: "А почему бы, собственно, и нет?.. Когда человек по собственному желанию поднимается против Государства, против Закона (большие буквы — не мои), который это Государство обслуживает, человек этот не вправе требовать, чтобы к нему этот Закон не применяли, чтобы его гладили по головке (как ни странно, а именно так ведет себя современное, беззубое либеральное общество стран демократических, в которых ряд государственных функций атрофируется прямо-таки на глазах)"...

Вот так. Хоть стой, хоть падай. Но — все правильно. Закон и на самом деле "обслуживает" государство, а не людей, — это он не ошибается...

— Ваш первый роман, "Укрепленные города", был книгой о "среднем классе", если пользоваться вашим толкованием. Но мне представляется, что рассказы ваши, появившиеся за последние годы в "Двадцать два", "Континенте" и других изданиях, посвящены, скорее, другому человеческому слою, не знаю даже, как его определить, — "городское мещанство", "дно", "люмпены" и тому подобное. Причем от рассказа к рассказу становится все очевидней, с каким упрямством вы держитесь одних и тех же ситуаций, одних и тех же сюжетов. Почему так?

— В своих рассказах я стараюсь сосредоточиться на "низшем классе", только идущем в "средний", — оттого ограниченность и замкнутость сюжетов (обстоятельств). Я пишу книжку "на определенную тему". Если успею — затрону и другие. Но — оговорюсь — со средним классом я "познакомился" по-настоящему только в эмиграции, так что особых откровений не предвидится: опять все те же "экстремальные случаи", в русле русской литературы... Ведь и Солженицын своего Русанова не "на работе и дома" показал, — а в раковом корпусе, умирающего, выбитого болезнью из привычных обстоятельств. Рак, эмиграция, любовь, бедность — все это для среднего класса положения редкие: обычно все обходится без неприятностей в этом роде...

Напоследок хочу сказать, что месячный доход (или годовой) — это не признак "среднего класса", вернее, признак, но не основ-

ной. Средний класс — если уж пользоваться этим термином — это общекультурное понятие. Так сказать, не отношение к средствам производства, а отношение к производству средств.

Я не стал бы касаться всего этого, но все чаще и чаще я слышу скорбные напевы о том, как трудно работать “в таких условиях”: никто ничего не понимает и т. п. ...Как-то приехала труппа областного театра кукол в дальний колхоз (не скажу “в деревню”, деревень никаких нет...) исполнять пьесу “Поросенок Чок”. Стоит в колхозе “клуб”: вместо крыши какие-то рейки в беспорядке накинаны, “зал” — густо покрыт дерьмом разнообразных животных — высших и низших. Даже плакатов нет на стенах, потому что стен-то практически нет. И дождь собирается... Одна наша бабуся по имени Валечка вдруг всхлипнула: “Я не могу в таких условиях создавать образ...”. Какой уж там образ — другой вопрос. Так вот: дела наши обстоят именно так. И не иначе. Причем вскоре будет и еще хуже. И придется нам создавать образы в таких условиях. Этот средний класс, эти палачи, охломоны, графоманы, придурки — это и мы сами! И ничего другого не предвидится. В свое время Нестор Кукольник, напившись, кричал: “Все! Не понимают, не для кого работать!.. Перехожу на итальянский! “Я итальянского не знаю в достаточной степени, писать на нем не могу, а кроме того — совсем не уверен в итальянском читателе. Пишу для читателя русского (будущего, бывшего, настоящего) . На итальянский с удовольствием переведусь — чтобы обеспечить средний годовой доход, но никак не для участия в итальянской словесности. Не заинтересован.

Вот отсюда и мои “темы”, — ибо там, где живут мои рассказы, покамест нет ни видеомангитофонов, ни сексуальной революции (если не принимать во внимание групповух), а есть бытие — со всеми вытекающими из него на грунтовую дорогу обстоятельствами... Если это может пригодиться “среднему классу” итальянцев, — очень буду рад. До сих пор читатели меня не обижали.

— Ваш первый роман произвел на меня впечатление “горячей исповеди”, своего рода исповеди целого поколения. Исповедальный напор был так велик, что стиль и мастерство за ним почти не замечались. Теперь, в рассказах, этот ваш особый стиль выявляется с каждым годом все резче и определенней. Каждое слово торчит как вколоченный по шляпку гвоздь... Но вот вы говорите о

работе над новым романом. Не окажется ли верность одному стилю и одной теме препятствием на пространстве большой вещи?

— О специфике моего стиля (который разные забавники пытаются выкрасть и использовать для своих "кавээнов") мне говорить трудно. Можно ли в такой манере писать романы — не знаю. Кто-то написал, что, мол, Милославский естественным образом тяготеет к малой форме. И этого я не знаю. Сейчас начинаю второй роман, надеюсь закончить книжку рассказов. Вот, — после написания этого романа я и смогу ответить на этот вопрос. Вообще, что есть стиль? — позвольте мне спросить риторически. Это всего лишь "гармоническая правильность в распределении предметов" — цитирую по памяти Льва Толстого: его отзыв о прозе Пушкина в одном из писем к Голохвастову. У меня есть свои "предметы", которые я стараюсь разместить в "гармонической правильности". Наша современная прозаическая речь страдает трясением всех членов, неряшливостью и несобранностью. Разговор о том, почему так происходит, завел бы нас далеко, — поскольку современная русская проза идет совсем не от Толстого—Пушкина, не от Гоголя—Достоевского, не от Платонова, — но от романов Щедрина, Чернышевского, Немировича-Данченко, Боборыкина, Брешко-Брешковского... Причем так идет, будто никакого Гоголя и в помине не было, а лучшим русским стилистом был, извините за выражение, Хемингуэй в переводе журнала "Юность", — недостижимый идеал!.. Странно только, что единственную в зарубежной России литературную премию назвали именем Даля, — назвали бы ее лучше именем какого-нибудь "Краткого словаря иностранных слов для нерусских школ в районе Крайнего Севера"...

Но все это пустяки, — я лучше расскажу вам притчу. К некоему святому пустыннику явился дьявол в образе Христовом — в сиянии, в белых одеждах. Говорит дьявол пустыннику: "Я прослышал о твоём подвижничестве, — и вот, пришел к тебе..." Святой хотел было уже поклониться лжеспасителю, но тотчас подумал: "При явлении Христовом я должен был бы испытать радость, блаженство и душевный покой, а мне все также тяжело и горько, все также чувствую я телесный гнет..." И, решившись, воскликнул: "Отойди от меня, сатана!". Это отнюдь не о сочинительстве, но применимо и для данного случая.

Вел интервью Р. Нудельман

НОЧНЫЕ МАНЕВРЫ ПОД БЕЙТ-ДЖУБРИН

Я младшей родины моей
глотал холодный дым,
и нелюбимым в дом входил,
в котором был любим,
где нежная моя жена
смотрела на луну
и снег на блюде принесла,
поставила к вину,
она крошила снег в кувшин
и ногтем все больней
мне обводила букву "шин"
в сведении бровей,
узор ли злой ее смешил,
дразнила ли судьбу,
но все три когтя буквы "шин"
горели в белом лбу.

Я встал запомнить этот сон
и понял где я сам,
с ресниц соленный снял песок
и ветошь разбросал,
шлем поднял, прицепил ремни
и ряд свой отыскал,
при пламени прочли: они
сошли уже со скал,
но я не слушал, а ловил
я взгляд, каким из тьмы
смотрело небо свысока
на низкие холмы,
и в переносии лица
полнебосводу в рост
трезубец темноты мерцал
меж крепко сжатых звезд.

А нам читали: прорвались
они за Иордан,
а сколько их, а кто они,
а кто же их видал?
Огни горели на дымы,
как должные сгорать,
а мы — а несравненны мы
в искусстве умирать,
в котором нам еще вчера
победа отдана,
играй, военная игра,
игорная война,
где мертвые встают, а там
и ты встаешь сейчас —
мы хорошо умрем потом
и в следующий раз!

И я пройду среди своих
и скорб свой уроню
в колонне панцирных телег
на рыжую броню,
уже совсем немолодой
и лекарь полковой,
я взял луну над головой
звездой кочевой,
луну звездой путевой,
луну луну луну!
Крошила белый снег жена
и ставила к вину,
и головой в пыли ночной
я тряс и замирал,
и мотыльки с лица текли,
а я не утирал.

Как медленно провозят нас
через рукотворный лес,
а темнота еще темней
с луной из-под небес,
и холм на холм менял себя
не узнавая сам,

в огромной пляске поднося
нас ближе к небесам,
чтоб нас рассматривала тьма
луной своих глазниц,
чтоб синий порошок мотыльков
сошел с воздетых лиц,
чтоб отпустили нас домой
назад на память прочь,
где гладколобый череп мой
катает в детской ночь.

Бейт-Джубрин окт. 81, Себастья янв. 82

ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ

Я,
сочинитель стихов и поэт,
за что ответил,
я знаменит — затмению луны
был живой свидетель,
в Иерусалиме жил,
повтори,
бес мой прелестный,
я собеседником был Анри —
он — бывал в Поднебесной.

Дева Белые Бельма прижалась лбом,
шепчет не то мне.
Чтобы, бес мой, я был любим —
того не помню,
но
истинно
сочетанья планет
благоволили:
жил сочинитель стихов и поэт
в Иерусалиме.

— В ночь затмения где она, луна?
— А луна затменна.
Черен разинутый зев трубы

дуды военной.
— Ну, пускай луна как жизнь была,
а, слепая дева?
— А была
и нету.
И тьма втекла
и затвердела.

— Где он, град,
о бес мой —
где Иерусалим?
где, скажи на милость! —
тьма — предмет пародии — мало лун,
и одна — затмилась —
и не видно кто был и стал убит
там — внутри мундира,
на войне, которой, конечно, быть
по исходу мира.

Бес,
да девка,
да — над головой
дыра в тверди.
Свистом в дудку давай подуй —
сквозняком предсердий
свисти, бесовка, в пустой висок,
дура слепая,
видь, в костяных бойницах песок
пересыпая,

видь — изменчивый вид
в ночь затмения,
а давно пора ведь:
то хетты пройдут, то луна пролетит
в медяной оправе,
темный свой по небу свет лия,
черный, то-есть.
Чему случился свидетель я.
Число
и подпись.

Иерусалим янв.—май 82 г.

ОДА НА ВЗЯТИЕ ТИРА И СИДОНА

Отхлыньте каменные воды
от ледяных берегов реки,
где бывшие сидят народы,
посмертно свесив языки —
чудь, весь и жмудь, и рось — этруски
на ложе Каменной Тунгуски,
Аккад под ледниковым льдом!
Дивись, как дым масляной рощи
пламена жирные полощет —
и где он, Тир, и где Сидон!

Свисти в железные свирели!
Дудите в скотские рога!
Достигли люди Ариэля
твердынь смущенного врага:
Сидон! о где гордыня Тира?
В согласии с устройством мира
и мы и эти состоим:
из фосфора, души и меда,
железа и — одной свободы,
какой недосыта двоим.

Не потому ль на подвиг ратный
нас честь подвигнула и спесь,
что есть война — не мир обратный —
но мир, в котором все как есть
и будет дале и доколе —
внутри нас труп желает воли
из тела выкинуть побег —
не многим раньше, чем бывало,
в долины лунные Ливана
себя отпустит человек.

Когда же тень утру склонится,
шатнувшись прежде чем упасть —
непевчая, как ангел, птица —
откроет и закроет пасть,
и распахнет ночные очи

и два крыла по следу ночи,
по следу теплому войны.
И выдох — черный облак пара —
из уст просыплется шофара
и ляжет подле тишины.

Тогда, на горбе дромадера,
и вид его невыносим —
и вылетит заря-химера,
приплясывая на рыси
на холме пепельном верблюда,
переломив хребет Джаблута,
в бурнусе белом мертвеца —
разбросив рукава пустые,
по каменной летит пустыне,
с дырою розовой лица.

И вся она хамсина стая,
и — по тому что тишина —
вязь трещин черно-золотая —
по скорлупе нанесена —
и вся она — хамсина стая,
и — за спиной ее летая,
оттягивает косы визг
назад, до кости обнаженной,
дабы — открывшись — лик тяжелый
под теменем ее провис.

Иерусалим июнь 82 г.

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ. "ПОСЛАНИЯ К ЛЕМУРАМ"
(ИЗД-ВО "ЛЕКСИКОН", ИЕРУСАЛИМ, 1981).
ХУДОЖНИК — МАРК БАЙЕР

108 страниц. Цена — 100 шекелей (за рубежом — \$ 10)

Заказы и чеки принимаются по адресу: М. Генделев, P.O.B. 6608,
Иерусалим, Израиль. В Северной Америке заказы и чеки направ-
лять по адресу: R. Pines, 120 Brook Str., Brooklyn, Boston, Ma.,
02146, USA.

ИЗ "ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСЕН"

* * *

"Последняя у попа жинка".

"Огня, кричат, огня".

Приснится же такая чепуха:
Старуха раздевала петуха.
Бульонный дух к нам в комнату проник.
Музыка проскрипела. В этот миг
Сам Нафталинный Царь-и-Бог бочком,
манерно подбивая каблучком,
пошел по кругу. Вслед за ним,
раскачивая пыльный кринолин,
кривя улыбкой уголочек рта,
шмыгнула в танце пани Скукота;
Пыль — по углам, а рядом — Патриот,
жующий файфоклокский бутерброд.

Тут с улицы ворвались Дым и Гарь
и так пошли чадить и куролесить,
что зазвенели жалобно подвески,
и — Люстра обратилась в Самовар.

Он твердо встал, разъеденный, зеленый,
сбор протрубил и объявил парад,
все по привычке сделали ура,
пошли полки войной на посторонних...

Весь этот шум — поминки по цветку,
который кстати, находился тут,
а все друзья, поклонники, родня
своим цветеньем увлеклись на днях.

Так отпевали Розу.

Но пока —

Старуха раздевала петуха.

Вот перья, огрубевшие в крови,
как будто скальп с индейской головы.
А петушинная глава — в углу, без дела,
как будто вовсе тела не имела...
и вдруг над миром поднялась, взлетела
и трижды в ночь кукареку пропела.

И-и — враз пошли
полки,
полки,

Пошли полки потешные.
Скрежещут челюсти; белки
вращаются, конечно же.
Старушки зонтики на-пле,
опущены вуали;
за ними по уши в стряпне
Чиновники шагали;
Искарיותик с фонарьком:
“ищите Диогена!”;
и помесь Лебеда с Хорьком
скакала на полене;
Фискалы с финками: “Ату! —
что на роду, то и во рту!”;
Фигляры во футлярах;
И Филера в фингалах.

Еще прошли Герой, Поэт,
Пропоица Суровый,
и глистоглазый шел Корнет,
и — Всадник безголовый.

Собралась Мельница в поход,
За нею в направлении,
где на пригорке Дон-Кихот,
стремится ополчение.

Какие бранные поля!
(и дойные коровушки),
Но что прекрасно — не болят
упавшие головушки.
А я-то думал: отчего
потешными считаются? —
Да так неловко и смешно
убитый спотыкается,

И вот идут, идут войска,
идут на день рождения

той Розы, что еще вчера-сь
срезали с наслаждением.

И в ритме том — рука легка —
Старуха раздевала петуха.

Лежал Боец на травке во саду,
в обнимку с холодильником. Во льду
которого цвели деликатесы,
в которых средоточье интересов,
которые Боец взлелеял сам,
который... Но вернемся к нашим снам.

Лежал — не встать под тяжестью почета,
к тому ж награды, мемуары, льготы;
лежал документацией поросший,
как мама родила — в одной сорочке;
лежал, довольный, что в руках синица.
— какая чертовщина не приснится! —
Теперь синице не свистать-не петь
и даже море не зажечь.
Над павшим тучки розоватые
гоняли мошкокомариный род.
Лежал Боец, как памятник солдату —
к нему галушки залетали в рот.
(Когда проснусь, я запишу в дневник,
что человеку не война экзамен,
что человека проверяет мир...)

Вот вскоре утро разведет со снами,
хотя Бойцу на это наплевать:
была ли Роза? не было ее?

Кипит вода. Готовится бульон.
Старуха оголила петуха...

Приснится же такая чепуха.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА: СКАНДАЛЬНЫЙ ХАНОХ ЛЕВИН

Нина Воронель

О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ ВСЛУХ

Пару лет назад во время спектакля в одном из театральных залов Тель-Авива разразился бурный скандал, взорвавший обычное вежливо-прохладное молчание театральной публики. Скандал этот напомнил славную эпоху разгрома выставок импрессионистов в Париже и разгула страстей во время демонстрации первых фильмов Луиса Бюнюэля и Сальватора Дали. Происходил он согласно всем канонам того возвышенного отношения к искусству, при котором оно почитается важнейшим делом в жизни. Публика, давно привыкшая считать искусство приятным, но бесполезным баловством, вдруг встрепелась, осознав, что присутствует при событии исключительном, принадлежащем другой жизни.

Давали пьесу израильского драматурга Хануха Левина "Приговоренный к смерти". На сцене не было декораций в традиционном смысле слова: в центре стояли двумя рядами дамы и господа в торжественных вечерних туалетах, наводя на мысль о концертном исполнении классических пьес девятнадцатого века: так на моей памяти была одета труппа, представлявшая в шестидесятых годах ибсеновского "Пер-Гюнта" на провинциальной сцене. Слева на авансцене стояли на коленях трое в полосатых тюремных костюмах, а по обе стороны сцены в роскошных, выложенных алым бархатом, витринах кровожадно поблескивали изощренные орудия пыток. Вначале все было, как положено: актеры плакали и пели, публика молча внимала, аплодируя в соответствующих местах.

Вдруг откуда-то из задних рядов раздался хриплый выкрик, похожий на птичий клекот, и грузный человек пробежал к сцене по ковровой дорожке, спускающейся ступенями в проходе между креслами. Зрители, давно привыкшие к хитроумным режиссерским трюкам, приняли его было за одного из актеров, тем более, что он с разбегу вскочил на сцену, резко выделяясь среди концерт-

ных фраков и обнаженных женских плеч синей нейлоновой курткой на молниях. Но сами актеры в замешательстве попятились, оборвав музыкальную фразу на полутоне. "Вы, вы! — крикнул в публику возмутитель спокойствия. Голос его вздрагивал то ли от искреннего, то ли от хорошо разыгранного гнева. — Сидите и наслаждаетесь! Аплодируете! И даже смеетесь! А здесь не смеяться надо, а плакать. Или вскочить и разнести всю сцену, все растоптать, сжечь и завывать от отчаяния на пепелище! "

Почувяв, что это не элемент спектакля, а настоящий "хэппенинг", публика замерла, предвкушая удовольствие — равнодушная тишина зала вдруг зазвенела беззвучно от нарастающего напряжения перед взрывом. "Вон отсюда! Все вон! — завопил нарушитель спокойствия и затопал ногами. Он уже не говорил, а декламировал. — Сытые, тупые, равнодушные, прочь отсюда!"

Кое-кто из зрителей послушно поднялся — уходить, остальные сидели, не шевелясь, не дыша, боясь спугнуть происшествие. Но тут заволновались актеры за спиной возмутителя спокойствия, одна из актрис забилась в истерику. Из-за кулис выбежал администратор, он вел за собой здорового парня в джинсах. Вдвоем они заломили руки нервному ценителю искусств и довольно ловко уволокли его за кулисы, откуда еще долго доносился топот и неясные выкрики. Зал зажужжал, загудел и затих, актеры, поправляя сбившиеся прически, вернулись на свои места, но сосредоточиться по-настоящему уже никому не удалось, так что, хоть и побежденный физически, нарушитель мог торжествовать победу.

Прежде, чем попытаться рассказать, что в сорванном спектакле могло вызвать столь сильное желание его сорвать, мне хотелось бы окинуть беглым взглядом все творчество Хануха Левина, ибо я вижу пьесу "Приговоренный к смерти" не одиночным явлением, а замыкающим звеном длинного художественного ряда, таким восклицательным знаком в конце мировоззренческого тезиса.

Каков же главный мировоззренческий тезис Хануха Левина, его весть, которую он несет в мир? Первая пьеса его "Хейфец" долго слонялась из театра в театр, не находя пристанища и признания. И немудрено: вся расстановка действующих сил и действующих лиц в пьесе пугала любого читателя яростным неприятием основных правил человеческой игры. Причем неприятие это было продиктовано не возвышенно-гуманистическими склонностями автора и не спасительной его любовью к ближнему, а той особой беспощадной пронзительной жалостью, которая, на мой

взгляд, и составляет истинно-художественное видение. Жалость эта происходит от бесстрашного понимания истинных причин человеческих страданий, от отважной попытки взглянуть в лицо неминуемой смерти и от сознания мелкости всех наших дел и забот перед этим неотвратимым лицом с дырами пустых глазниц над безгубым оскалом.

Персонажи комедий Ханоха Левина лишены почти всех индивидуальных и социальных черт, они напоминают маски, снабженные лишь минимально необходимым набором чувств и инстинктов. Ни на минуту автор не дает нам забыть, что как бы ни пытался возвыситься человек, — а верней, по мерке Левина, человек, букашечка, муравьишка, тварь несчастная, — он не может уйти от своей низменной основы, ибо, как сказал Томас Манн, "внутри у него потроха, и они воняют".

Этот "запах потрохов" составляет основной элемент атмосферы всех пьес Ханоха Левина. И основная тема их, независимо от сюжета, выглядит так: вопит, суетится человеческая толпа, травит одного из себе подобных, забывая, что каждый обречен той же участи, а нет в ней ни лучших, ни худших, ибо все равны перед лицом ожидающей каждого черной ямы.

Конечно, такой взгляд на жизнь человеческую, выраженный остро и талантливо в драматургической форме, мог только отпугнуть директоров театров — ведь любой из них знал отлично, что публика ходит в театр забыться, отвлечься от ужаса существования, а не получить сокрушительную порцию смертельной тоски. Пьесы ложились стопкой в ящик стола, но Ханох Левин упорно продолжал писать — всегда об одном и том же, не склоняясь к призывам одуматься и позолотить пиллюлю. И наконец Хайфский театр, считавший своей целью развитие отечественной драматургии даже ценой провалов и риска, поставил "Хейфеца" без поправок и прикрас.

Успех спектакля был оглушительным и внезапным. Из безвестного чудака с дурным характером Ханох Левин вдруг превратился в одного из самых популярных драматургов страны. Но успех не изменил его отношения к жизни: каждый год пишет он новую пьесу, еще горше и мудрее предыдущих, и ставит их сам, ибо он ко всему оказался еще и блистательным режиссером.

Мне привелось увидеть один из самых успешных его спектаклей "Торговцы резиной", не сходивший с афиш более двух лет — и это в стране, где всего-то населения три миллиона! В комедии

всего трое — Аптекарша, Холостяк и Торговец, — но они, как всегда у Левина, воплощают грехи, пороки и страдания всего рода человеческого. Я не оговорила, назвав пьесу "Торговцы резиной" комедией: несмотря на истинный трагизм мироощущения, Левин избрал для его выражения форму комедии, фарса, грубого простонародного балагана, не допускающего мелкой бисерной вязи деталей.

Все в его манере просто и выразительно — это не изысканная вышивка, не тонкое кружево подтекстов и иносказаний, а скорей — контрастная, склонная к примитизму аппликация, где каждый цвет заполняет свою, четко очерченную геометрическую фигуру, не допуская оттенков и полутонов. Так, без оттенков и полутонов, в разухабистом балаганном зрелище узнала я печальную историю трех пронзительно одиноких, немолодых и несчастных людей: Аптекарши, Торговца и Холостяка.

Все дело завязалось вокруг двадцати тысяч коробок с презервативами, которые Торговец купил на аукционе по дешевке в надежде продать их Аптекарше. А Холостяк зашел в этот день в аптеку, чтобы купить обычную свою ежемесячную пачку презервативов и таблетки от головной боли. И того, и другого привлекла кокетливая, хоть и не первой молодости Аптекарша, хозяйка пышного тела и прибыльного дельца. И каждый повел на нее атаку по-своему, и каждый проиграл, ибо слишком боялся продешевить и продать свою мужскую свободу за бесценнок. И каждый из троих, плача, уполз в свою одинокую нору зализывать раны.

Прошло двадцать лет, и снова встретились они в той же аптеке, у прилавка поседевшей, погрузневшей, погасшей в печали одиночества Аптекарши. Ничего не изменилось в жизни каждого из них, кроме неизбежных потерь, связанных со старостью: потери надежд, веселья, здоровья. Все так же грустит и жаждет замужества Аптекарша, все так же покупает презервативы Холостяк, только пачки хватает ему не на месяц, а на полгода, все так же носит со своим катастрофически теряющим ценность товаром Торговец. И вновь, как и двадцать лет назад, в тот роковой момент, когда надо забыть о здравом смысле, протянуть руки и крикнуть: "На! Бери все, что у меня есть, за крохи любви!" — каждый из них испуганно и подозрительно спрашивает: "А не проиграю ли я?" И действительно проигрывает, ибо только душевная щедрость могла бы спасти его, а ее-то как раз и нет.

И все это в сопровождении остро-прямых, порой похабных

шуток, под музыку лихих, часто похабных песенок, под смех несколько шокированного, но живо заинтересованного зрительного зала. И захлестывает невыносимая пронзительная жалость к героям пьесы, к себе, ко всем нам, жалким и жадным, столь безрассудно предусмотрительным, столь бессмысленно нерасчетливым, столь мучительно одиноким.

Комедии Левина нельзя назвать реалистическими, ибо они не привязаны ни к месту, ни ко времени — они оперируют вечными (в рамках человеческого общества, конечно) категориями, они посвящены самым глубинным, самым интимным потребностям и переживаниям человеческого существа, голого на голой сцене перед лицом неотвратимой судьбы.

Если современная драматургия, убегая от простоты реализма идет порой по пути недомолвок, как в пьесах Пинтера, а порой по пути синтетических философских иносказаний, как в пьесах Беккета. то Ханок Левин избрал свой. весьма оригинальный путь. Его герои никогда не разговаривают, как мы — простые смертные, буруемые множеством мелких повседневных страстей и забот. По нашим репликам можно распознать наш социальный статус, привязать нас к географической точке, найти наши временные координаты.

Герои комедий Левина живут вне времени и пространства, они не общаются на уровне второй сигнальной системы, — они выражают словами таинственную работу своего темного подсознания, того глубинного подпольного мира, где сплетаются главные нити нашего существования. Так в одной из ранних его пьес мать и дочь, выгрызая мясо из куриных ножек, ведут такой диалог:

МАТЬ: Когда уже, наконец, ты выйдешь замуж? И перестанешь портить мне аппетит своей хмурой рожей?

ДОЧЬ: А вот ни за что не выйду, пока ты не померешь!

МАТЬ: А я назло тебе буду жить долго и ни за что не помру!

Обстановка этого диалога несущественна, ибо трудно представить себе подобный разговор в любой обстановке — будь то современная облицованная формайкой кухня или старомодная столовая с обеденным столом под бахромчатым розовым абажуром. Язык тоже неважен, — ведь трудно представить себе голоса, произносящие эти реплики на любом языке, тем более, что рты говорящих заняты выгрызанием мякоти из хитросплетения куриных костей и сухожилий.

И вдруг неоспоримо проясняется, что диалог этот ведется в

полном молчании, которое нарушается порой лишь хрустом разгрызаемых костей и чавканьем: в прошлом веке эти реплики шли бы после ремарки "в сторону".

В прошлом веке диалог это выглядел бы так:

МАТЬ: Опять ты плохо ешь! И бледна что-то! (в сторону) Когда уже, наконец, ты выйдешь замуж и перестанешь портить мне аппетит своей хмурой рожей?

ДОЧЬ: Да и ты сегодня к еде не прикоснулась! Уж не больна ли? (в сторону) А вот ни за что не выйду, пока ты не помрешь!

МАТЬ: Ну уж сразу и больна. Просто надо себя слегка ограничить, чтобы не поправляться. (в сторону) А я назло тебе буду жить долго и ни за что не помру!

Конечно, такой диалог требует костюмов и декораций в стиле эпохи: подходящей мебели, соответствующих тарелок, гравюр на стенах и реалистически расположенных окон и дверей. В спектаклях Левина ничего этого нет: на голой сцене, ничем не напоминающей человеческое жилье, среди условных голых перегородок заученно движутся и разговаривают заводные куклы. Им чужды житейские мелочи, им ни к чему бытовые детали: на том уровне, на котором идет действие драмы подсознания, нет ни богатых, ни бедных, ни ловкачей, ни неудачников, там все равны.

И потому герой комедий Х. Левина всегда маленький человек, букашечка, муравьишка; ведь любой — не более, чем муравьишка, перед уготованной каждому бездной небытия. Все мимолетное, все преходящее, все социально-значимое теряет смысл для персонажей, общающихся на уровне ремарок "в сторону"; остаются только базисные чувства и насущные желания: жажда, голод, похоть, страх. На их фоне показались бы смешными наши неустанные игры, предназначенные для сокрытия истинных наших побуждений от нас самих, наша мышиная возня вокруг неудачной карьеры, обиженного самолюбия или неоплаченного счета. Содрав со своих героев луковые слои наносного, Ханок Левин выпустил на сцену маленького человечка, обреченного на страдание самой своей человеческой природой.

Исчерпав небольшой набор масок, характерных для самых основных душевных движений, драматург пришел к моменту, который можно было предвидеть: он оплакал и высмеял всех, кого мог, — обжору и сластолюбца, труса и лжеца. Маски начинали повторяться, диалоги двоиться. Что было делать дальше? Пойти по второму кругу?

Начиная с пьесы "Приговоренный к смерти", Левин вступил на новый, всем предыдущим творчеством подготовленный, путь: начал диалог с Тем, Кто ответственен за Жизнь и Смерть.

"Приговоренный к смерти" уже не бытовая комедия, где в мелких будничных обстоятельствах суетливые муравьишки улаживают свои житейские неурядицы.

В этой пьесе — оратории драматург столкнул лицом к лицу нашу краткую жизнь и нашу безмерное стремление продлить ее любой ценой. Нелицеприятно и сурово решает торжественно одетый Хор жалкую судьбу трех смертных: собственно, судьба эта уже решена и смерть их неотвратима, решению подлежит лишь продолжительность их жизни и способ умерщвления. С таким мучительным сладострастием смакует автор равнодушие судей и страдания подсудимых, так торжественно красиво выстраивает душераздирающие сцены пыток и казней, что можно поверить на миг, будто он, ненавидя род людской, судит и осуждает нас из каких-то туманных далей по ту сторону добра и зла. Но стоит только взглянуть в лицо его на театральной программке, чтобы увидеть как на ладони всю его боль и смятение.

Это он — обжора и сладострастник, истерзавший себя непреодолимым чувством вины перед всеми, это он — эгоист и лжец, ни на минуту не забывающий о собственном ничтожестве, это он — приговорен и не видит выхода, это он одинок и не умеет ответить на любовь, это он страдает на сцене и негодует в зрительном зале. Он принимает страдания за всех нас и готов искупить нашу общую вину: ведь в грехе мы все рождены и грешными сгнием в грешной земле.

Даже удивительно, что человек с таким кафкианским лицом родился здесь, в стране "жестоковых агрессивов и лихих одноглазых Даянов". И тут я вспоминаю, что и грехи своего народа он тоже готов принять на себя: недаром он, по слухам, был даже членом здешней компартии —единственный правдолюбец-интеллигент в шайке отпетых кагебешников. Уж не знаю, какая сила вытолкнула его оттуда, но с тех пор он замкнулся в слоновой башне своего добровольного страдания и даже интервью никогда не дает. Только пишет и ставит пьесы, в которых бросает вызов самому Творцу.

Так, во всяком случае, могут быть истолкованы два последних его спектакля "Испытания Иова" и "Великая вавилонская блуд-

ница", вызвавшие еще больше споров и толкований, чем его ранние бытовые комедии.

Страдание — главный герой спектакля "Испытания Иова", где все несчастья, выпадающие на долю Иова, предстают в виде бесплотных масок и символических свертков в погребальных саванах, тогда как сам страдающий Иов корчится на сцене, подчеркнуто натуралистично до крови раздирая ногтями зудящую паршу на голом теле.

Но Левин не ограничивается только сценическим воплощением библейской легенды, где Бог после всех испытаний осеняет благодатью верного ему страдальца, твердящего в исступлении: "Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господа благословенно".

Левин хочет опровергнуть главный тезис притчи о Иове: "Человек рождается на страдание, как искры, ЧТОБЫ УСТРЕМЛЯТЬСЯ ВВЕРХ".

Вся вторая половина пьесы посвящена разоблачению возвышающего страдания: оно только унижает, лишая человека последних остатков достоинства и самоуважения. С честью пройдя испытания, обрушенные на него коварным Творцом, Иов попадает в руки людей — те тоже требуют от него отречения от своего Бога. Гордо отринув все их настояния, бедняга кончает свою жизнь на колу, куда он посажен очень натуралистично: здесь он, наконец, проклинает Бога и здесь-то и разворачивается главное действие левиновской притчи о Иове. Вокруг умирающего в муках на колу Иова ловкий антрепренер устраивает похабное цирковое представление, дающее карикатурный очерк человеческой жизни, и обнаженная потаскуха выкрикивает в лицо изнывающему от похоти карлику: "Есть у меня черная дыра, откуда ты вышел. Ты хочешь обратно? Что ж, ведь тебя не ждет ничего, кроме черной бездонной дыры".

И Карлик подводит печальный итог:

"Что есть человек?

Вот вам человек:

То он лепечет: "Бог есть"

То он гавкает: "Бога нет!",

То он причитает: О, сын мой, о сын мой!",

То он вопит: "О моя жопа, моя жопа!".

Тот, кто вечером наслаждался жареными голубями,

К рассвету мучается на железном колу.

Тот, кто недавно пел, сейчас уже плачет и скоро смолкнет.
Что же есть человек?
То, что говорил он вчера?
То, о чем он плачет сейчас?
То, о чем он замолчит через минуту?
То, что он делает,
Или то, что делают с ним?"

С еще большей яростью и отчаянием разоблачает Левин несовершенство воплощенного в человеке Божественного замысла в пьесе "Великая вавилонская блудница". Даже для тех, кто принимает жестокость и непотребство творческой манеры драматурга, было тяжелым испытанием пройти через избыточный набор насилия и непристойности этого спектакля, оформление которого поражает почти неправдоподобным очарованием музыкальных, световых и зрительных эффектов. Все в этом спектакле преувеличенно и гротескно: красота и уродства, гармония и распад, ненависть и любовь. И все вместе оборачивается проклятием нашей цивилизации, символически обозванной "Великой блудницей", потаскухой, убивающей собственных детей.

Чтобы дать представление об этой пьесе, возможно, лучший способ — способ старомодный: пересказать ее содержание. Сделать это можно на нескольких, дополняющих друг друга уровнях.

Уровень первый: Изнасилованная женщина мстит насильнику.

Уровень второй: Изнасилованная женщина мстит насильнику по канонам греческой драмы: она убивает рожденного в результате насилия ребенка и кормит им отца. Процесс выбрасывания переваренного ребенка из кишечника отца воспроизводит процесс родов нежеланного плода насилия. Так символически завершается акт мести.

Уровень третий: Все происходящее должно быть понято не буквально, а символически: согласно Библии (Иеремия, 51), Вавилон и есть блудница, а согласно распространенной литературной версии наш сегодняшний мир можно назвать Вавилонской блудницей. Насильник приходит из пустыни: он варвар, не знающий моральных норм. В результате акта изнасилования блудницы варваром рождается дитя, которому суждено быть убитым матерью и съеденным отцом,

Мы можем принять эту версию, мы можем отвергнуть ее в него-

довании, как можем узнать себя или не узнать в маленьких человечках левиновских пьес. Но мы не можем закрыть глаза, заткнуть уши и не видеть, в каком мире мы живем.

Наступает вечер, куда-то за море проваливается солнце и я открываю окно в мир.

Радио надрывно кричит по-английски, телевизор пытается перекричать его на иврите. Из-за окна доносятся лихорадочные обрывки русской речи — соседи тоже слушают новости. Душный субтропический воздух насыщен разрядами в пересекающихся силовых полях — не в электромагнитных, а в информационных.

Господи, дай силы выдержать поток новостей: всегда одно и то же — жертвы террора, жертвы обстрела, жертвы голода, жертвы катастроф. Летит в тартарары наш миленький-голубенький, наш миленький-зеленький, наш идиллический шарик, где непонятно зачем, скорей всего сдурю, вопреки законам сохранения энергии зародилась жизнь. А ведь сказано: "Все, что имеет начало, имеет и конец". Утешительно, правда? В Иерусалиме, говорят, родился уже обрезанный мальчик — выходит, со дня на день надо ждать появления Мессии и конца забавной нашей комедии.

И неудивительно, что создатель апокалиптической драмы живет в Израиле неподалеку от Армагеддона (что в переводе означает "гора Мегидо") и пишет на языке Библии, хотя число читателей его едва дотягивает до трех миллионов.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ПРЕДЛАГАЕТ КНИГУ:

Менахем Бегин. В белые ночи. Бывший эзк, а ныне премьер-министр Израиля рассказывает о времени, проведенном им в лагерях Воркуты. Цена 9 долларов.

Заказ и чек направлять по адресу: Foundation "Moscow—Jerusalem", Ramat-Gan, Israel, P. O. B. 7045.

ЯКОБИ И ЛАЙДЕНТАЛЬ

пьеса с песенками

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Давид Лайденталь
Итамар Якоби
Рут Шахаш.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина 1. Улица. Вечер. Якоби.

Я а к о б и : Я — Итамар Якоби, мне сорок лет, и пускай знают все: дошло до меня вдруг — ведь родился-то я, чтобы жить! Сейчас же пойду к своему дорогому дружку, Лайденталю, и выложу, что больше не желаю с ним якшаться. Ни чай не буду с ним распивать, ни козла забивать. Хватит, пора завязать с ним. Я так уязвлю его, что ему тошно станет. К черту его дружбу, пускай себе остается один. Тогда усвоит, какая разница между нами. Ух, уязвлю я его! Ух, уязвлю! Пусть он пострадает. Пусть пострадает! От всей души желаю себе успеха и горячо себя целую — я, Итамар Якоби.

Картина 2. Балкон в квартире Лайденталья. Вечер. Якоби и Лайденталь.

“ПЕСНЯ ДРУЖБЫ”

Я а к о б и :

Луна с небес струила нам свою печаль
Мы лопали селедку и глушили чай.

Я ко би и Л ай де н т а л ь :

Да, господа, наша дружба цветет
Пышно и ярко, как звезды небес.
Непредставим человеческий род
Без Лайденталья и Якоби без!

Л ай де н т а л ь :

Прекрасный вечер впереди, другим подстать.
Мы будем забивать козла и чай хлестать.

Я ко би и Л ай де н т а л ь :

Да, господа, наша дружба цветет
Пышно и ярко, как звезды небес.
Непредставим человеческий род
Без Якоби и Лайденталья без!

Л ай де н т а л ь : Ах, какой чудный вечерок. Как раз для до-
мино. Ну и возбуждает меня эта игра! Говорят, возбуждаться —
вредно для здоровья. Да разве устоишь, верно, Якоби? Мне ка-
жется, что мы увязли в счастье по самые уши. Пойду, налью еще
по стакану чаю.

Я ко би : Мне не надо.

Л ай де н т а л ь : Не выпьешь еще стакан за игрой?

Я ко би : Пил уже.

Л ай де н т а л ь : Всегда ты пьешь еще.

Я ко би : А на этот раз — нет.

Л ай де н т а л ь : Ты наверное устал.

Я ко би : Нет.

Л ай де н т а л ь : Или ты сердисься из-за чего-то?

Я ко би : Скажи, а тебе не приходило в голову, что мы с
тобой, может, не одного поля ягоды?

Л ай де н т а л ь : Как это, не одного поля ягоды?

Я ко би : Ты что, не видишь, что перед тобой занятой чело-
век? Что нет у меня времени на глупости? Или думаешь, так мне и
тухнуть тут с тобой, на этом балконе? Сколько еще лет ты будешь
накачивать меня чаем, а?! Да чего я вообще торчу здесь и трачу
свое драгоценное время? Я человек занятой, у меня дела, дела!

Л ай де н т а л ь : Якоби, Якоби! Что случилось?

Я ко би : В том-то и весь смак, что ничего. Уж простите, меня
жизнь зовет. Бывай (уходит).

Л а й д е н т а л ь : Яакоби... (пауза) Что значит — не одного поля ягоды?..

Картина 3. Улица. Вечер. Яакоби.

Я а к о б и : Подходяще я его щелкнул. Страдает. Ну и страдает же он, наверное! Нет, что ни говори, есть у жизни вкус и острота. Останься я там еще на минуту, пырнул бы ему пальцем в глаз — до того он мне мил. Потому что, без всяких там философий, люблю я жизнь и — точка. Я занят, дела у меня, дела. (уходит)

Картина 4. Комната Лайденталья. Вечер. Лайденталь.

Л а й д е н т а л ь : Ну, что мне теперь с собой делать? Понятия не имею. Ясно, лучше всего пойти спать. Во сне не чувствуешь, как проходит время. Жаль, что только семь часов. Как-то не солидно идти спать в семь вечера. Тем более, что я уже не ребенок. Вот будь я болен, это был бы самый повод идти спать. Но я не болен. А вдруг все же болен? (прикладывает руку ко лбу) Жара нет. Как раз сегодня я здоров. По японскому времени, не колеблясь, мог бы уже улечься. В Японии, небось, уже в районе десяти. Но я не в Японии. Жаль. Японцы идут себе спать, а мне все еще суетиться. Никогда не получается, как мне надо. Не японец, и не болен, и не ребенок. Нету мне счастья. (пауза) Лягу все-таки, а случайно кто заявится — скажу, что прилег соснуть перед тем, как пойти кутить на всю ночь. Хотя беспокоиться-то нечего — некому заявиться. (укладывается; в окно снаружи заглядывает Яакоби)

Я а к о б и : Ага, семь вечера, а мы уже идем спать, а?

Л а й д е н т а л ь (вставая) : Просто прилег отдохнуть перед тем, как уйти.

Я а к о б и (передразнивая) : Ах, уйти?!

Л а й д е н т а л ь : А я говорю, что уйду. Вот, уже выхожу, увидишь.

Я а к о б и : Фу, ложится спать в семь вечера. Стыд и позор! Я бы на твоём месте как завалился с полудня — так до завтрашнего утра. На кой черт тебе вообще вставать? (снова дразнит) Уходит! Уходит он! (отходит от окна)

Л а й д е н т а л ь : И всего-то десять минут восьмого. Никакого выигрыша во времени.

Картина 5. Улица. Вечер. Якоби идет следом за Шахаш.

Я а к о б и : Простите, вы хозяйка этой попы?

Ш а х а ш : Выходит, что так.

Я а к о б и : Прекрасно. А как ее зовут?

Ш а х а ш : Для друзей она — Гранд-Попа.

Я а к о б и : (попе) Привет, Гранд-Попа.

Ш а х а ш : Эта попа так популярна, а я говорю: заберите ее от меня. Прицепилась сзади... Как собачонка. Да такая капризная. К чему она мне? Ведь я — да будет вам известно — пианистка.

Я а к о б и : О-о!

Ш а х а ш : Да. Пианистка. Так что Гранд-Попа не совсем подходит к атмосфере искусства, которая меня окружает. Ведь она вечно тянет к земле, а я устремлена ввысь, вслед за моими мелодиями. Вы понимаете, что я имею в виду? (поет)

"КУДА НИ ПОЙДУ"

Под самой спиной с давнишней поры
Цветет моя славная попа.
Вкруг дырочки нежной пружинят шары,
И розовы, розовы оба!

От глаза дурного ее сберегу,
Одеждой любовно укрою.
Куда ни иду я, куда ни бегу —
Гранд-Попа бессменно со мною.

Я с музыкой тщилась взлететь в небеса,
Порвав притяжения сети.
Но якорем попы мои телеса
Притянуты прочно к планете.

Ах, попа! Влечешь ты меня в глубину,
В могилу влечешь за собою!..
Куда ни пойду я, куда ни сверну —
Гранд-Попа бессменно со мною.

Я а к о б и : (про себя) Вот так баба! Что восхищает — с одной стороны, тело что надо, а с другой — искусство. Очень пикантное сочетание. (к Шахаш) Я хочу пригласить вас вместе с Гранд-Попой в кафе.

Ш а х а ш : (про себя) Ну и ошеломила же я его этим отчуждением собственной задницы! (к Якоби) Видите ли, я... мои мысли

в музыке, но я пойду с вами в кафе только потому, что вынуждена выводить Гранд-Попу немного проветриться.

Я а к о б и : (про себя) Она возбуждает у меня все больший аппетит. И плоть, и дух — ну прямо как в романах.

Ш а х а ш : (про себя) Наградить его пощечиной, что ли? Он не поймет, почему, и это прибавит мне загадочности. (дает ему пощечину)

Я а к о б и : За что?

Ш а х а ш : Просто так.

Я а к о б и : (про себя) Все. Теперь я окончательно очарован. В жизни такого не видал. Чтоб просто так, безо всяких, вклеить пощечину?! А кроме того, и пианистка, и задница!..

Ш а х а ш : Меня зовут Рут Шахаш.

Я а к о б и : (про себя) И к тому же Шахаш. (к Шахаш) А меня — Итамар Яакоби. (уходят)

Картина 6. Комната Лайденталья. Вечер. Лайденталь.

Л а й д е н т а л ь : До каких же пор притворяться, что сплю и лишь вижу сны, будто не сплю? Ведь честно-то признаться, я не сплю. И времени — только полвосьмого. И что с ним случилось сегодня, со временем? Пройдусь-ка немного. Авось, вернусь не раньше десяти, а улечусь в десять — это вовсе не позор. И портфель с собой возьму, буду выглядеть человеком занятым, который куда-то спешит.

Картина 7. Улица. Вечер. Яакоби идет позади Шахаш, держа двумя руками обе половины ее зада, и поет в ритме шагов.

“КАЧАЕТСЯ, КАЧАЕТСЯ”*

Качается, качается, качается, качается,
Слева поднимается, справа опускается,
Слева опускается, справа поднимается,
Голова кружится, сердце обрывается.

(останавливаются)

Ш а х а ш : Звезды! Что такое звезды?

Я а к о б и : Что такое звезды?

Ш а х а ш : Музыка! Все музыка!

Я а к о б и : (про себя) Ну-ну, пофилософствуй. Ты пофилософствуй, а я тем временем потискаю твою жопу. Это ж мечта

*Перевод песенки В. Кукуня

всех мужиков — пощупать женщину, погруженную в мысли. Так можно щупать без всяких помех с ее стороны. (поет)

“щип-щуп, щип-щуп”

Щип-щуп, щип-щуп,
Трусики скрывают пуп.
Сколько тайн хранится в них!..
Плих-плюх, плюх-плих.

Я а к о б и : Вот мы и в кафе. Садитесь, пожалуйста. (садятся)

Ш а х а ш : Если б вы знали, сколь драгоценное время я трачу здесь впустую, когда могла бы его посвятить упражнениям на фортепьяно. Понимаете вы или не понимаете? Нет, просто, чтоб вы знали, чем я жертвую.

Я а к о б и : (про себя) Цена этой дамы все растет и растет в моих глазах. Еще немного — не вытерплю и разложу ее прямо здесь, под столом. (к Шахаш) Чашечку кофе?

Ш а х а ш : Вы смеетесь, что ли? Чтобы я пила кофе? Я, служительница муз?! Нет-нет, не принуждайте меня. Для меня это слишком низменно — распивать кофе. Зачем вы меня так принуждаете?! Что вы хотите от меня, приятель? Что с вами? Что вы все цепляетесь? Что плохого сделало вам искусство, раз вы стараетесь оторвать меня от него?! Нет, господа прилипалы, здесь служат искусству, а искусство — это искусство!

Л а й д е н т а л ь : (входит, несет портфель, про себя) О-о! Он уже сидит тут с добычей. А бюст! Какой бюст! Бывают минуты, когда мне воистину жаль, что я не Яакоби.

Я а к о б и : Кто тебя звал?! Как ты посмел приблизиться к лучезарной сфере нашего счастья?!

Л а й д е н т а л ь : Я вовсе не к вам. Я здесь случайно, мимоходом. (указывает на свой портфель) Ты же видишь, я занят. (поворачивается уходить, останавливается) Вообще-то, я не очень спешу. Могу посидеть с вами четверть часика.

Я а к о б и : Это в наш расчет как-то не входило.

Л а й д е н т а л ь : Спросим у дамы?

Я а к о б и : Не смей обращаться к этой даме! Вы вообще не одного поля ягоды!

Л а й д е н т а л ь : Ну, познакомь нас.

Я а к о б и : Чтобы я знакомил тебя с этой дамой?! С этим корифеем музыки?! Я оглушен! Я потрясен этой наглостью!

Вернись домой, ложись себе снова дрыхнуть и радуйся, что остался цел при этом своем нахальстве!

Л а й д е н т а л ь : Надеюсь, дама меня слышит, хотя нас и не познакомили.

Ш а х а ш : Ни слова я не слышу. Лишь мелодии, мелодии...

Я а к о б и : (к Шахаш) Этот человек... он словно затор на реке жизни. Весь мировой прогресс задерживается из-за него! Сердце ноет за каждую секунду, которую он отнимает у нас. Уйдем отсюда. Погуляем.

Ш а х а ш : Уже гуляли.

Я а к о б и : Еще. Это очень полезно.

Ш а х а ш : Ладно, будь по-вашему.

Я а к о б и : Поймите, все, что я хочу, это быть наедине с вами.

Ш а х а ш : Я же сказала, что ладно, пусть будет по-вашему. (уходят)

Л а й д е н т а л ь : Случайно мне с вами по пути. (уходит за ними)

Картина 8. Берег реки. Вечер. Появляются Шахаш и Яакоби.

Я а к о б и : Вот мы и у реки.

Ш а х а ш : И река — тоже.

Я а к о б и : Что — тоже?

Ш а х а ш : Музыка. (появляется Лайденталь)

Я а к о б и : Он здесь! Продолжим гулять! (Яакоби и Шахаш уходят)

Л а й д е н т а л ь : Главное — минуту за минутой, время-то я убиваю, развлекаясь в их обществе. (делает шаг, останавливается) На посмешище я себя выставляю. Ну, да черт с ним. (уходит за ними)

Картина 9. Кафе. Вечер. Входят Шахаш и Яакоби.

Я а к о б и : Ну, вот мы и снова в кафе.

Ш а х а ш : От реки в кафе, от кафе к реке, туда да сюда. Ладно, пускай так... Ничего.

Я а к о б и : Надеюсь, вы довольны?

Ш а х а ш : (про себя) Надейся, надейся. (сидят; входит Лайденталь; Яакоби вскакивает со стула)

Я а к о б и : Опять он здесь! Не будь нас, за кем ты бегал бы

со своим портфелем?! Не выношу я этого человека. Вида его не выношу, голоса его, и как он дышит, и как шляпу свою надевает!

Л а й д е н т а л ь : Как же ты хочешь, чтоб я дышал?

Я а к о б и : Ой, чтоб ты лопнул! Чтоб ты лопнул! Признайся хотя бы, что худо тебе, в то время как я гуляю на всю железку.

Л а й д е н т а л ь : Не понимаю, почему ты думаешь, что радостей жизни не хватит для нас двоих? А если мне тоже чего-то хочется? Может, и у меня есть самолюбие... Что, я хуже других? И потом, что это значит — не одного поля ягоды?

Я а к о б и : Слушай, я хочу тебе кое-что сказать, и учти, что это из большой к тебе любви. Такого, как ты, терпят, только если уж очень неприметный. Даже не то: как песок, как пыль. Я мог бы даже немного любить тебя — за то, что тебе худо, что ты мучаешься, — но не потерплю, чтоб тебе было хорошо, запомни это! Поэтому послушайся моего совета: не сопротивляйся своей натуре, мучайся открыто тот срок, что тебе еще остался, пока не околочуришься. А мы уделим тебе за это немного сострадания. Только признайся, что тебе худо.

Л а й д е н т а л ь : (уходит; возвращается) Ладно. Если это доставит тебе удовольствие, я признаюсь. Но чтобы и дама слышала это. Мне худо.

Я а к о б и : Большое спасибо.

Л а й д е н т а л ь : Я признаюсь, что мне худо.

Я а к о б и : Спасибо.

Л а й д е н т а л ь : Худо мне. Не знаю, что мне делать со своей жизнью. Худо мне, худо и худо.

Я а к о б и : Ладно, уже слышали.

Л а й д е н т а л ь : Худо мне, я угнетен, страдаю, мне тоскливо, я полон уныния. Короче говоря, мне худо.

Я а к о б и : Сказано тебе, что слышали. И хватит.

Л а й д е н т а л ь : Жить не умел, все прозевал, худо мне, я угнетен, я страдаю.

Я а к о б и : Сделай одолжение, хоть мне дай спокойно жить.

Л а й д е н т а л ь : Нет уж. Ты хотел, чтоб я признался. Теперь моя очередь говорить. Худо мне, тяжело мне, горько.

Я а к о б и : (к Шахаш) Продолжим нашу прогулку.

Ш а х а ш : (про себя) Таскаюсь за ним, как тень. Но ведь только познакомились. Пускай думает, что я женщина покладистая и спокойная. Еще придет тот день, день — придет! — и он мне заплатит сполна за эти прогулки. (Шахаш и Якоби уходят)

Л а й д е н т а л ь : А я опять за ними. Хотя и впрямь стыдобе, но уж больно неохота оставаться одному. (кричит им вслед) Да! Да! Худо мне, горько мне! (уходит)

Картина 10. Берег реки. Вечер. Появляются Шахаш и Якоби.

Я а к о б и : А вот мы и снова у реки. (появляется Лайденталь)

Л а й д е н т а л ь : Я признаюсь, мне худо. Быть одиноким — в этом ничего позорного нет.

Я а к о б и : (к Шахаш) Пускай шляется за нами со своим портфелем. Пусть весь город видит, как он в одиночку плетется за счастливой парой. Посмотрим, кому раньше надоеет. А мы гуляем и будем себе гулять.

Ш а х а ш : (про себя) Ничего другого придумать не может, кроме прогулок. О такси как будто и не слыхал. Что ж, потащимся пешком. (указывает пальцем на свой лоб) У меня все здесь записано. (Шахаш и Якоби уходят)

Л а й д е н т а л ь : А я за ними... (пауза) Ну, что, еще не надоело? (смотрит на свой портфель) Этот портфель! Натолкал в него бумагу, чтобы выглядело натурально. (делает шаг, останавливается) За кем гоняюсь? Домой! (уходит)

Картина 11. Кафе. Вечер. Входят Шахаш и Якоби.

Я а к о б и : И опять мы в кафе. (салятся; про себя) Боюсь только, что начинаю ей надоедать с этой беготней туда-сюда. Может подумать, что неинтересный я человек, а этого ни за что нельзя допустить. Что это они ей говорят? (пауза; прислушивается к разговору за соседним столиком) В Зальцбурге... австрийцы... (пауза)

Ш а х а ш : (в сторону) Которые австрийцы, а которые и австрийки.

Я а к о б и : (про себя) Ясно — скучно ей со мной. (пауза; щелкает ее пальцем по подбородку; пауза; щелкает еще раз; Шахаш срывает с его головы шляпу и бросает на пол) А чего такого? (поднимает шляпу) Пришел бы уж снова этот Лайденталь — было бы чем заняться. (входит Лайденталь) Опять он здесь!

Л а й д е н т а л ь : Голова у меня кружится, грудь давит. Заберите меня в больницу. (пауза) В больницу. (пауза) Я вправду

болен. (опускается на пол; пауза; встает) Ну, теперь-то я вижу — есть у меня товарищи. Есть на свете люди. Есть гуманность. (про себя) Вроде, все уже перепробовал, чтобы быть с ними. Или еще что-то можно сделать? Нет. (уходит)

Ш а х а ш : (про себя) Сколько сменится поколений, сколько веков пробежит, пока выжмешь из этого человека чашку кофе с пирожным! Глупо, что отказалась раньше, теперь уж не вернешь. (оборачивается к соседнему столику)

Я а к о б и : (про себя) Что это ей говорят, что говорят, а?

Картина 12. Комната Лайденталья. Вечер. Лайденталь. Один его палец забинтован.

Л а й д е н т а л ь : В четверть девятого я почувствовал, что больше не могу сам с собой. Вот как это было: обычная моя тоска, мучительная боль от этой тоски, проклятое ощущение оттого, что унижался перед ними и что еще буду унижаться, стыд за все эти унижения, а еще — ненависть к самому себе из-за того, что устроен я таким чувствительным и мягким. Все это сплелось вместе, и вот, в четверть девятого, я почувствовал, что обязан направить свои муки в какое-то другое русло, иначе рехнусь. Пошел в ванную и там порезал себе палец. Не глубоко порезал. Но, увы, получилось не так, как хотел, потому что теперь ко всему, что было, только добавилась боль от раны да еще стыд — за то, что нет у меня храбрости порезать себя сильнее. (пауза) Пойду, спрошу, нет ли у них йоду. А тот, что есть у меня дома, выброшу, чтоб не чувствовать себя лжецом, когда буду просить у них. Хотя бы от раны будет мне польза.

Картина 13. Кафе. Вечер. Шахаш и Якоби.

Ш а х а ш : (про себя) Теперь месяцами буду грызть себя из-за пирожного, что могла заполучить, а прозевала. Или все же сказать ему, что хочу пирожное? Однако, что он тогда подумает? Что я жру пирожные?! Да еще беспринципна?! Ох! Ох, до чего все идет не так, как мне хотелось бы! Весь мир согнула бы в дугу, да его уже и так... (встает, обращается к Якоби) Я иду домой.

Я а к о б и : Может, все же кофе с пирожным?

Ш а х а ш : (про себя) Ох, искушение, искушение! (к Якоби) Сказала же, домой!

Я а к о б и : (про себя) Знал я, что надоем. Наверное, нужно было больше шутить. (оба встают; входит Лайденталь с портфелем и забинтованным пальцем)

Л а й д е н т а л ь : Простите, нет ли у вас йоду?

Ш а х а ш : (про себя) Кто мне объяснит, какая нелегкая меня сюда занесла?! Да еще на пустой желудок! (сбивает с головы Яакоби шляпу на пол и наступает на нее)

Я а к о б и : А чего такого я сейчас сделал?

Л а й д е н т а л ь : Да-а, брат, жизнь-то, она пестрая.

Я а к о б и : (к Шахаш) Пожалуйста, прошу вас, не унижайте меня при нем. Я вас очень прошу. (нагибается поднять шляпу, но Шахаш продолжает на ней стоять) Пожалуйста, прошу вас, не при нем. (снова нагибается) Знаете, что? Неважно, иной раз можете меня унижить — я к этому довольно привычный, — но только прошу, не при нем. Пожалуйста. (снова нагибается) Как вы меня унизили. (поют)

“НЕ УНИЖАЙ МЕНЯ”

Я а к о б и :

Не унижай меня ты, словно
Перед тобою — мерзкий прах.
Хоть честь моя весьма условна,
Совсем без чести — просто швах.

Ш а х а ш и Л а й д е н т а л ь :

Не позорьте мужчину, не нужно!
Без того тяжела его доля.
Лучше все укрепим его дружно
В ощущении силы и воли.

Я а к о б и :

Не унижай меня, не надо.
Я знаю истину одну:
За ласку слова, нежность взгляда,
Как пес, к ногам твоим прильну.

Ш а х а ш и Л а й д е н т а л ь :

Не позорьте мужчину, не нужно!
Без того тяжела его доля.
Лучше все укрепим его дружно
В ощущении силы и воли.

(Шахаш поднимает шляпу и подает ее Якоби. Делает шаг к выходу. Роняет перчатку. Лайденталь поспешно ее поднимает и подает Шахаш)

Л а й д е н т а л ь : Это совсем не унижительно — познакомиться с дамой, оказав ей небольшую джентльменскую услугу. Меня зовут Давид Лайденталь. А вас?

Ш а х а ш : (про себя) Вот они уже и соперничают всюю. И оба в себе не уверены. А я заодно и цену себе набила. (уходит)

Я а к о б и : (про себя) Не нужен я ей. Что поделаешь?.. Опять борьба, борьба... Когда уже будет покой и хоть что-то надежное в руках? Когда обрету уверенность, что стою на прочном жизненном фундаменте и перестану жить в непрерывном страхе? Господи, прошу тебя, дай мне, наконец, что-то устойчивое, надоело мне, нервы мои истрепаны. Другие улыбаются со своих семейных фотокарточек, а я все мечусь и мечусь без толку. Да и шляпа — как ее теперь выправишь? (к Лайденталю) Ты, прочь свои руки от женщин! (уходит)

Л а й д е н т а л ь : А я ей, кажется, понравился. На первый-то взгляд это просто, но если вдуматься, с чего я должен кому-то нравиться? Или во мне что-то есть? Ничего во мне нет. Что я, высокий, крепкий? Невысокий я и некрепкий. Но, может, хоть чуточку высокий? Да нет, просто низенький. Или же богатый? Нет, небогатый. Солидный я? Нет, и несолидный. А может, ей кажется, что я солидный? Ничего ей не кажется. С чего это ей покажется? Из-за моего портфеля, что ли? Тогда, если несолидный, то молодой? Ну еще бы, молодой! А может, я умный? Не-е, неумный, это по моему лицу видать. Тогда, если ничего этого нет, то, может, есть во мне все же какое-то особое обаяние, которое пленило ее сердце? Может, я такой тип... Никакой я не тип, и нет во мне никакого обаяния — нет, и ничего не поделаешь, — а только и есть, что невыразительный взгляд да блеклая улыбка. Пресный я. Но, может, она, как женщина со вкусом и воспитанная, нашла во мне какое-то качество, которое ее увлекло? Не может быть? Нет. Ясно, что нет. Ничего? Даже такого маленького-маленького, малюсенького, чего-то оттеночного, точечного, какого-то следа от чего-то, что говорило бы о какой-то определенной, пускай слабой привлекательности? Что? Даже этого нет? Нет. Ничего нету. Полно, не может быть, что ничего нет. Не может быть?! Но ведь факт. А как же в таком случае она позволила поднять ее перчатку? Почему я знаю?

Позволила. Кто-то не позволяет поднимать перчатки? Позволяют!
(пауза) Где она? Может, у нее есть йод? (уходит)

Картина 14. Улица. У входа в дом Шахаш. Ночь. Якоби и Шахаш.

Шахаш : Так спокойной ночи.

Якоби : Когда же мы снова увидимся? (пауза) Знайте, я не из таких, которые попользуются и бросают. Я тоже уже не маленький. У меня вполне серьезные намерения. (пауза) Что мне еще сказать о себе? Ага, я не то, чтобы слишком уж какой-то болезненный. Слышите, что я говорю?

Шахаш : Угу.

Якоби : Так чему же вы улыбаетесь? Что вы на это скажете?

Шахаш : Я не говорю "да" и не говорю "нет".

Якоби : А что же?

Шахаш : Ничего. Я молчу.

Якоби : Когда же вы будете знать?

Шахаш : Я не говорю ни "завтра", ни "через год".

Якоби : Вы только и говорите о том, чего не говорите.

Шахаш : Я знаю, что мне говорить или не говорить. (про себя) Его грызут сомнения. (пауза; падают друг другу в объятия) Давай, прижмись ко мне, вкуси этого блюда, по которому ты так изголодался, раздражи себя. А мне нужно быть осторожной, не натягивать поводок и слишком близко к себе тоже его не подпускать. Завтра-то, понятно, я дам согласие на его предложение. Почему бы нет? Тут пахнет постоянным доходом, а еще — он будет меня во всем слушаться. (к Якоби) Ну, а теперь иди спать. Ведь если я отвечу тебе положительно, то буду нуждаться в здоровом муже — по крайней мере, первые пять лет.

Якоби : Да здоров я, здоров. И сердце бьется вовсю. Ну и прекрасно, пусть себе бьется и бьется. (пауза) Меня хотят, меня желают. Я кому-то необходим. Меня оценили, меня приобщили. Кому-то важно, что я существую. Меня хотят. Есть кому пойти, рыдая, за моим гробом. Есть, есть. Я уже готов заплакать. Мне уже не терпится. Дай-то Бог прожить пускай всего лишь час после свадьбы. (уходит)

Картина 15. Улица напротив окна Шахаш. Лайденталь.

Лайденталь : Сударыня! Ваше Величество!

Ш а х а ш : (изнутри дома) Кто это меня так превозносит посреди ночи под окном? (появляется в окне)

Л а й д е н т а л ь : Это я, Давид Лайденталь.

Ш а х а ш : А-а, тот, что оказывает небольшие джентльменские услуги?

Л а й д е н т а л ь : Он самый. Сударыня, нет ли у вас йоду? Я палец порезал. (поет)

“ДЕВУШКА МОИХ ГРЕЗ”

Приложи ко лбу моему ладонь,
Чтобы узнать, не в жару ли я.
Загляни в мой разинутый рот —
Не красно ли горло мое.
Будь заботливой. Долгих лет пожелай,
Чтобы был я с тобой всегда,
О, девушка моей мечты,
Моих утраченных грез!

Позови ко мне среди ночи врача,
Если в обморок упаду.
Пусть это будешь ты, кому суждено
Встретить мой угасающий взгляд.
Вечно помни меня, взывай ко мне.
На могиле почаще плачь,
О, девушка моей мечты,
Моих утраченных грез!

Ш а х а ш : Ну, и забавный же ты. Давай, входи, чудило. (Лайденталь входит в дом)

Картина 16. Комната Яакоби. Ночь. Яакоби.

Я а к о б и : Нет, ничего не скажешь, бабу отхватил что надо. И уж как-нибудь смогу себя убедить, что я в нее влюблен. А чего? Небольшое усилие и — поверю, что она как раз та, о которой мечтал. Понятно, лучше если был бы влюблен без всяких усилий. То есть, просто влюблен. А с другой стороны, что из того, если нужно сделать над собой усилие? Ничего особенного тут нет, и вообще, настоящий-то мужик так и должен. Вот сейчас полежу спокойно и постараюсь понемногу в нее влюбиться. Через пару-то часиков буду уже влюблен по уши.

Картина 17. Улица напротив окна Шахаш. Ночь. Лайденталь с портфелем. Шахаш появляется в окне.

Л а й д е н т а л ь : А все-таки, когда мне можно снова прийти, поговорить с вами?

Ш а х а ш : Ты ужасно смешной и забавный.

Л а й д е н т а л ь : И на том спасибо. Но мне казалось, ваша жизнерадостность и моя деликатность... Вы да я...

Ш а х а ш : Ну, понятно, я буду рада видеть в тебе друга.

Л а й д е н т а л ь : Друга?..

Ш а х а ш : Ну да, знаешь, такого закадычного друга, что выслушивает обо всех твоих заботах, а между тем сварит для тебя кофе, всякие маленькие поручения выполнит, платье погладит, яичницу пожарит, дом немного поможет убрать — такого друга, что немножко поможет, немножко одолжит. Ну, ты понимаешь. Мне очень понравилось, как ты быстро поднял перчатку.

Л а й д е н т а л ь : Это верно, я весьма расторопен в таких делах, но...

Ш а х а ш : Вот видишь! А мне нравится, когда для меня что-то делают или преподносят. И если видишь такого, как ты, сразу хочется воспользоваться. Ты... применительный, понимаешь?

Л а й д е н т а л ь : Так я кажусь вам человеком, который дает собой пользоваться?

Ш а х а ш : Да.

Л а й д е н т а л ь : Что ж, вы правы. (про себя) Давид Лайденталь, разновидность друга, который одалживает и немного помогает, оказывает небольшие джентльменские услуги. Как быстро она уловила! А может, я таким и выгляжу? Нужно было выключить свет, и тогда, в темноте, когда б она меня не видела, у нее, может, и вырвалось бы: "Додик"... а не... Просто: "Додик".

Ш а х а ш : Так что, с твоей тоской уже все на эту ночь, ты, оказывающий небольшие джентльменские услуги? (поднимает груди) И в эту лунную пору мне уже отправляться почивать, когда две этих милашки так и ходят ходуном?

Л а й д е н т а л ь : (про себя) Ну и пусть пользуется мной на здоровье. Чтоб мне околеть. (уходит)

Ш а х а ш : (про себя) Не переборщила ли я со своими выходами? Еще подумают, что бессердечная. А чем я других-то хуже? Два эти типа сами делают из меня больше, чем я есть, а я рада стараться, подыгрываю им. Такая уж я слабачка. Сама себе конфеткой кажусь. И мне еще за это, ясное дело, отомстится. Но ведь

только дура не воспользуется. Не так, что ли? Как это не воспользоваться, если можно? Ну, ладно, хватит, нельзя мне много думать, а то сама себе противной делаюсь. Пойти, помазать лицо кремом. Ведь переборщила, не переборщила — относиться-то ко мне будут по тому, какое тело. (обращает лицо к небу) Господи, есть у меня мужчина, и нужно мне, чтоб лицо было гладкое. Так не дай же лицу моему сморщиться, не дай груди моей увясть. Подошел мой черед, Господи. Подумай хоть раз и обо мне.

Картина 18. Комната Яакоби. Вечер. Яакоби одевается.

Я а к о б и : Вот, трусы поменял. Теперь можно жениться. Чувствую себя отлично. Почему бы и нет? Не жарко и не холодно. Не легко и не тяжело. Не сухо и не мокро. Теперь лишь бы сердце выдержало — когда уже добился успеха. Ведь, кроме здоровья, к свадьбе-то я почти ничего и не припас. Ну, ладно, идем жениться. Жениться! Прощай, дом. Прощай, кровать. Сколько усталости и огорчений я оставил в тебе. Теперь иду искать отдохновения в другой кровати. Не сердчай. Может, еще встретимся, кто знает.

Картина 19. Свадебный зал. Вечер. Появляется Шахаш в подвенечном наряде.

Ш а х а ш : (поглядывает на часы) Где он? (пауза) Да где же он? (пауза) Все зачтется! (входит Яакоби)

Я а к о б и : Я в уборную хочу.

Ш а х а ш : (хватает его за шиворот) Вначале женись.

Я а к о б и : Но я хочу в уборную.

Ш а х а ш : Вначале женись, а потом ходи себе в уборную. (поправляет на нем шляпу; Яакоби мнет шляпу) Что с тобой, Итамар?

Я а к о б и : Ничего.

Ш а х а ш : Итамар, я устрою тебе горькую жизнь, а затем похороню тебя, запомни это!

Я а к о б и : (про себя) Не знаю, что со мной. Когда она такое говорит, меня так и тянет к ее заднице. Пробуждается во мне старая мечта — быть похороненным толстухой из мира искусства.

Ш а х а ш : (про себя) Вот он, счет за его прогулки. И вообще, он будет расплачиваться до самого конца. Я его научу уважать меня. Он у меня быстро поймет, где его место. Но не дай-то Бог,

если почувствует он в себе когда-нибудь силенку: все, что накопится, швырнет мне прямо в морду. Уж предчувствую я, что дала маху.

Л а й д е н т а л ь : (входит с портфелем; его голова перевязана розовой лентой, как подарочный сверток) Желаю молодым счастья! Привел к вам самого себя в качестве свадебного подарка.

Я а к о б и : Что?!

Л а й д е н т а л ь : Сударыня сказала... такой друг... и что я применительный. А я сам себе не нужен, нечего мне с собой делать. Так что возьмите меня себе в качестве свадебного подарка.

Ш а х а ш : Подарок принимается.

Я а к о б и : Э, нет, не пройдет! Он...

Ш а х а ш : Подарок уже принят.

Я а к о б и : Как ты меня унижала, так и продолжаешь унижать все время. Ну конечно, ведь я же твой.

Л а й д е н т а л ь : (читает по карточке, приколотой к ленте) Дорогие Рут и Итамар! Примите, пожалуйста, этот скромный подарок — Давида Лайденталья — ко дню вашего бракосочетания. Пользуйтесь им на здоровье и радость, пока будет от него прок, а потом выбросьте на помойку. Подарок от меня и сам подарок — Давид Свадебный Подарок Лайденталь. (к Якоби) Получите.

Я а к о б и : Чтобы одно было ясно — кто служка и кто жених! (пауза) Кто здесь жених? (пауза) Кто жених, я спрашиваю! (пауза) Я! Я — жених! Я! (Шахаш кладет одну руку на ширинку штанов Якоби, а другой хватает Лайденталья за ухо)

Я а к о б и : Вот это меня устраивает.

Л а й д е н т а л ь : Ай, больно!

Ш а х а ш : А все это причиняю я. Фотограф! (поют)

“ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО НАДЕВАТЬ ЛИФЧИК”

Ш а х а ш :

Над животом, наискосок,
Есть грудь. А на груди сосок.

Л а й д е н т а л ь :

Есть у нее грудь.

Ш а х а ш :

А рядом с ней — наискосок, —
Вторая грудь. Второй сосок.

Л а й д е н т а л ь :

Есть у нее грудь.

Ш а х а ш :

Дорогие мои груди!

Все, чего я жду от вас. —

То, к чему стремятся люди:

дом, машину, свет и газ,

И сиамского котенка,

И лакея-негритенка.

Мое естественное право — на груди лифчик надевать,

И наступать на ваши шляпы, и ваши галстуки срывать,

И в кровь царапать ваши рожи,

И ржать над вами, точно лошадь,

На свадьбе спяну обоссаться,

На кладбище обхохотаться...

Кивают груди головами:

Я с ними — женщина с правами.

...Придет приятный кто-нибудь:

Положит руку мне на грудь.

Л а й д е н т а л ь :

Положит руку.

Ш а х а ш :

И на вторую грудь он тоже

Другую руку мне положит.

Л а й д е н т а л ь :

Другую руку.

Ш а х а ш :

Грудь-руки, руки-грудь,

все, чего я жду от вас, —

То, к чему стремятся люди:

дом, машину, свет и газ,

И сиамского котенка,

И лакея-негритенка.

Потому что я — в своем праве!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина 20. Дом Яакоби и Шахаш. Ночь. Яакоби поет.

"КОГДА-ТО БЫЛ Я МОЛОД"*

Когда-то был я молод
И в сад гулять ходил,
И там бродил в потемках
С собой наедине.
О горемычных шлюхах,
О жадных мужиках
Насвистывал я песни,
Попердывая в такт.

Те годы пролетели.
И, кажется, зазря.
Все минуло — и юность,
И вечер, и заря.
Таскаю я под ручку
Супруги телеса,
И больше не стреляю
Шрапнелью в небеса.

Картина 21. Дом Яакоби и Шахаш. Сумерки. Шахаш с подушкой.

Ш а х а ш : Говорят — комфорт, комфорт. Только где он, настоящий-то комфорт, с такой подушкой? И вообще, ежели удобно, то всегда я чувствую, что может быть еще удобней. Так что ж, выходит, бесконечно его добиваться, комфорта этого? Черт его знает! (старается устроиться на подушке поудобнее) Ну, а дальше что? Что дальше-то у меня с ним будет, с комфортом? А эта подушка — вот ведь блядское отродье! — даже и не думает помочь. (к подушке) Ну-ка, скажи, ты почему не делаешь так, чтоб мне удобно было? Тебя для чего подушкой сделали, а? Для чего ты здесь? Ты что, думаешь, это я для тебя, а не ты для меня, а? Во, слышали? Она думает, что я существую для нее. Эта дура, набитая перьями, думает, что я живу для нее! Так кто для кого живет, а?! (пауза) Но раз тебе нечего на это сказать, почему ты не делаешь, как мне удобно? Мне! Удобно! А?! (щиплет подушку, втыкает в нее вязальную спицу) На тебе! На! Я вам покажу! Я вас всех проучу! Я! Я вам!.. (падает на стул) Фу-у, уработалась. Подрыхнуть бы. (закрывает глаза)

** Перевод песенки В. Кукуя*

Л а й д е н т а л ь : (входит на цыпочках) Пускай ее тело отдыхает и набирается сил, чтобы кушать и добиваться комфорта. А я покуда поласкаю его тайком. О, как это приятно — легонько и нежно, будто невзначай, ласкать грудь спящей дамы. Словно собираешь спелые орехи-паданцы прямо с земли. А все же надеялся-то я на большее. (касается пальцем груди Шахаш) Ах, тело, тело, я вот ласкаю тебя и страстно желаю, а ты покоишься себе беспечно, такое равнодушное к моим любовным порывам. Ну и болван же Якоби, он даже не понимает, каким кладом обладает. О, если бы она была моей... (входит Якоби)

Я а к о б и : Хочу я, наконец, знать: если ты пианистка, то где же, к чертям, пианино?

Ш а х а ш : (открывает глаза) Пианистка?! Я?! Ну, ты даешь! Хоть раз ты слышал от меня, что я пианистка?! Он делает из меня пианистку! Ну, тянуло меня когда-то к искусству — так это же у всех девчонок, это ж естественно, — но... пианистка! Что я, блудная кошка, что ли? (поет)

“ПЕСНЯ О ПИАНИНО”

Ш а х а ш :

Когда-то в молодости я пришла на вечеринку,
От капли сладкого вина развеселилась я
Вдруг увидала я в углу у стенки пианино
И пробудил в девчонке хмель заветные мечты.
А где-то полночь меня ребята попросили
На пианино что-нибудь горячее сыграть
Охотно согласилась я, без всяких церемоний,
И “браво” закричали все и собрались вокруг.

Л а й д е н т а л ь :

Мне жизни не жалко, — живем только раз,
Мне б только дослушать твой милый рассказ.

Ш а х а ш :

Тогда на пианино я вспорхнула, словно птица
Я платье скинула, затем и трусики сняла,
И я сыграла им — да-да! Ух, я им показала!
Сымпровизировала я на пианино им.
Рвала остервенело я на пианино струны,
Податливые клавиши растапывала вдрызг,
Тут и друзья мне помогли закончить это дело —
Ведь пианино это все ж громоздкий инструмент!

Л а й д е н т а л ь :

Мне жизни не жалко, — живем только раз —
Мне б только дослушать твой милый рассказ.

Ш а х а ш :

Старик Бетховен должен бы благодарить судьбину,
Что был не сам он наверху, а только бюст его.
Ведь если б сам глухарь со мной на крышке оказался,
То позавидовал ему б навряд ли кто-нибудь.
Мое желание — закон, помех не потерплю я,
Пусть пианино на пути, пусть композитор сам,
И несмотря на то, что я — вместителище культуры,
Маэстро или инструмент, — не стойте на пути.

(продолжает) И впрямь, блудная кошка я и только. (Якоби уходит; к Лайденталю) Переборщила, как всегда. Нет, уж видно, не извлечь мне никаких звуков в этой жизни. Разве что из собственной своей утробы. А ведь кажется, только вчера была девчонкой и обещала папе, что стану великой пианисткой. Он так тяжело работал, чтоб приобрести мне пианино, а приобрел инфаркт и умер. А я жирела себе без толку. Мать-то говорила: ничего, мол, лишь бы ты кушала хорошо, на здоровье. Ну и вот, теперь-то я здоровая-прездоровая. Ну, да ладно, хватит страдать из-за утраченных грез. Вставать пора. Сосредоточу силы на создании семьи и дома, и плевать мне на мир искусства. На кухню!

Картина 22. Дом Шахаш и Якоби. Сумерки. Якоби.

Я а к о б и : Ну и паскудно же мне. Одного не пойму: то ли оттого, что слишком мне хорошо, то ли чертовски все плохо. Было бы с чем сравнить да разобраться... А то ведь не с чем. Хотя, если сравнить с Лайденталем, то я счастливчик. Но не все же Лайдентали. Так что черт его знает. Одним словом, хорошо все или плохо — паскудно мне.

Картина 23. Кухня в доме Якоби и Шахаш. Ночь. Шахаш в ночном пеньюаре и Лайденталь.

Ш а х а ш : Вот-вот, она самая и есть, ночная проверка. Я часто буду проводить ее. Так уж завела себе: встану вдруг ночью, подойду к холодильнику да посмотрю, все ли там на месте,

готово ли к моим указаниям, ждет ли меня, будто маленькая армия, — меня и больше никого.

Л а й д е н т а л ь : Позвольте доложить, мы у холодильника.

Ш а х а ш : Открой его. Открой мне его, мой холодильник.

Л а й д е н т а л ь : Открыто. Вот, все они перед вами. Бутылки с молоком и соком, сыр, масло, овощи и фрукты. Наверху мороженное мясо и рыба. Все разложено по полкам и ждет ваших приказов.

Ш а х а ш : Пусть ждут.

Л а й д е н т а л ь : Они говорят: ждать! Великая женщина, повелительница, властвующая над молоком, мясом и яйцами — видано и слыхано ли! — собственной персоной, во весь рост, полная сил, стоит посреди ночи перед застывшей от холода пищей, что ждет, как солдат, ее приказа. Пусть ждут! — она говорит. Равняйся! Смирно!! Еще миг — и она начнет одолевать холодильник! Вот увидите, эта презренная жратва капитулирует перед ней: войдет в нее через рот, выйдет через зад, а она останется стоять, как ни в чем не бывало! А мы-то, мужички, такие мелкие, упадочные, вопим, сучим своими ножками, а всего-то навсего — пыль! Ждать! — она говорит. Ох, лучше мне начать чистить что-нибудь, пока весь не выкипел! (начинает энергично тереть щеткой пол)

Ш а х а ш : Он не ошибся. Трите пол и крутитесь, как нули на палочке, мерзавцы. Одна цель маячит мне на горизонте. Отстроить свой собственный дом. Старательно, уютно, на вашем поте, на вашей крови построю я его. Я-то знаю, из чего сделан этот мир и что слетает с него, как пыль. Все ваше искусство ветром сдует. А у меня — электрохолодильник, большой и полный, и работает что надо, а еще немного — запищит тут младенец, а за ним — другой. Слышите, вонючки?! Здоровые младенцы запищат тут! (входит Яакоби)

Я а к о б и : Что это вы тут делаете?

Ш а х а ш : А теперь оба вон! Вы что, не видите? Холодильник должен работать в спокойной обстановке. Вон! И чтобы мне на цыпочках! Брысь! (Лайденталь выкатывается вон; Шахаш — к Яакоби) А ты не слышал, что я сказала?

Я а к о б и : Я спрашиваю, что вы тут делаете. Что значат все эти церемонии днем и ночью? И зачем это каждые полчаса ты проверяешь холодильник? На кой черт столько кур, рыбы, склянок и арбузов, что даже повернуться негде? И что это за разгово-

ры я слышал о младенческом писке? Какие такие младенцы?
Ш а х а ш : Наши с тобой.

Картина 24. Дом Яакоби и Шахаш. Ночь. Яакоби и Шахаш поют.

"УБЕДИ МЕНЯ"

Я а к о б и :

Убеди меня, что ты чудесна.

Ш а х а ш :

Уверяю тебя, уверяю.

Я а к о б и :

Убеди, что я — мужик что надо.

Ш а х а ш :

Уверяю тебя, уверяю.

Я а к о б и :

Убеди, что наш с тобой союз —
Верх логики и совершенства.

Ш а х а ш :

Уверяю тебя, уверяю
Что еще тебе нужно?

Я а к о б и :

Что нужно мне? И сам не знаю.
Душа покоя не дает.

Ш а х а ш :

Моя повыцвела краса, ушло очарование.
Я все ничтожней становлюсь, я превращаюсь в прах.

Ш а х а ш и Я а к о б и :

Вот он, конец, зловещий крах,
бездонный, беспросветный, зыбкий.
Лишь бьется на гнилых губах
подобие полуулыбки.

Я а к о б и : Убеди меня, что я могу верить всем твоим уверениям.

Ш а х а ш : Уверяю тебя, уверяю.

Я а к о б и : Скажи, а я не нудный?

Ш а х а ш : Нет.

Я а к о б и : Что — нет?

Ш а х а ш : Ты вовсе не нудный.

Я а к о б и : Убеди меня, что я не нудный, что я вполне обыкновенный и любознательный по своей натуре. (поют)

Я а к о б и :

Убеди меня, что я счастлив.

Ш а х а ш :

Уверяю тебя, уверяю.

Я а к о б и :

Убеди, что я всего достиг.

Ш а х а ш :

Уверяю тебя, уверяю.

Я а к о б и :

Убеди, что это — мой звездный час,
И лучшего быть не может.

Ш а х а ш :

Уверяю тебя, уверяю.
Что тебе еще нужно?

Я а к о б и :

Что нужно мне? И сам не знаю.
Душа покоя не дает.

Ш а х а ш :

Моя повыцвела краса, ушло очарование.
Я все ничтожней становлюсь, я превращаюсь в прах.

Ш а х а ш и Я а к о б и :

Вот он, конец, зловеший крах,
бездонный, беспросветный, зыбкий.

Лишь бьется на гнилых губах
подобие полуулыбки.

Я а к о б и : Так оставь же меня, наконец, в покое. Ну, оставь же, оставь. (уходит)

Ш а х а ш : В чем моя оплошность? Что сразу набросилась на него вовсю. Переборщила, как всегда. Нужно было дать ему сперва немного свободы, чтоб подышал малость, а главное, поменьше выпендриваться самой, дать ему почувствовать, что он тут главнее, что он самый важный, такой важный-преважный, хотя всей-то важности у него — как у моих шлепанцев. Нужно было его опутать медленно и с толком, постепенно, и чтоб он ничего не почувствовал. Так, чтобы в одно прекрасное утро он ни встать, ни пойти сам не смог бы и вообще ничего сделать без меня. Да, вот так. И за всю эту выдержку, за терпение мое нынешнее, за все это унижение он мне заплатил бы со всеми процентами-дивидендами. Пришло бы мое времечко, я возвысилась бы над ним, и тогда весь свой большой, длинный счет вбила бы ему прямо в пасть.

Картина 25. Дом Шахаш и Якоби. Вечер. Якоби и Лайденталь.

Л а й д е н т а л ь : Слушай, Якоби, я не то чтобы жалуюсь. Но для чего я подарил вам себя, если у вас все равно нет счастья? Что мне тут делать со своим самопожертвованием? У меня своих несчастий — хоть отбавляй.

Я а к о б и : Лайденталь, я раскаиваюсь за все, что причинил тебе.

Л а й д е н т а л ь : Ты что, рехнулся?! Ко всему он еще и раскаивается! И не думай!

Я а к о б и : Помоги мне, Лайденталь.

Л а й д е н т а л ь : Что это за разговоры, Якоби?

Я а к о б и : Да, Лайденталь, это я тебе говорю, твой товарищ, Якоби, который родился, чтобы сидеть с тобой на балконе, пить чай и позевывать.

Л а й д е н т а л ь : Что?! После всего?!.. Когда я согласился, что счастье — оно целиком для вас, а не для меня? Когда я взял да выпачкал, унизил сам себя? После всего этого ты еще будешь раскаиваться и просить прощения?! И рассказывать, что ты такой же, как я? Ну, знаешь ли, я тебе не мячик, Якоби, чтобы в любую минуту менять весь ход моей жизни. Не смей так говорить. Ты счастлив — и все тут.

Я а к о б и : Нет, несчастен я, мне худо.

Л а й д е н т а л ь : Да ты же велик, ты могуч!

Я а к о б и : Я ничто...

Л а й д е н т а л ь : Не говори, лучше взгляни на себя — какая стойкость! А внешность какая! Какое впечатление ты производишь на женщин и вообще! Какие глаза! А уши?! Какой слух! Ведь мне только и снится ночи напролет, что я такой, как ты. Не смей быть добрым ко мне и извиняться. Я только ради того и мучаюсь, чтоб вы были счастливы, и вы будете счастливы!

Я а к о б и : Я не создан для счастья, Лайденталь.

Л а й д е н т а л ь : Ты будешь, будешь счастлив! Слышишь?! Я заставлю тебя быть счастливым! Ты не выплунешь так за просто мне в физиономию все то, что я в тебя вложил. Ведь я вложил в тебя все! Все!! Себе ничего не оставил!!! Ведь вы же будете счастливы, а?..

Я а к о б и : Это невозможно. Это просто не для меня.

Л а й д е н т а л ь : (про себя) До сих пор я мог хоть немножко жалеть сам себя. А теперь и это у меня отняли. (пауза) Нечего мне тут больше делать. Сама логика говорит, что нужно встать и уйти. Ни я им не нужен, ни они — мне. А вот не уйду. Останусь и с раздражающим упрямством буду ждать. Они будут злиться, и я — тоже, чтоб растянуть подольше это мелкое наслаждение.

Картина 26. Спальня в доме Шахаш и Яакоби. Вечер. Шахаш в ночном пеньюаре и Яакоби.

Ш а х а ш : Итамар, может, тебе хочется в кино? Если хочешь, можешь идти один, а я пока закончу тебе рукав. Тебе ведь хочется в кино, правда, Итамар?

Я а к о б и : (поет)

“ГЛУПЫ ТВОИ ГЛАЗА”

Глупы твои глаза, малы, как у свиньи.
А вечно злобный взгляд — как мясника топор.
Но грудь твоя пышна, и я тебя хочу.
Поэтому мы вместе до сих пор.

Чужда мне пустота твоей слепой души.
И сердце от тебя закрыл я на замок.
Но грудь твоя пышна, и я тебя хочу.
Поэтому мы вместе до сих пор.

Друг друга ненави́дя, так мы и живем,
Барахтаясь в сетях неисчисли́мых ссор.
Но грудь твоя пышна, и я тебя хочу.
Поэ́тому мы вместе до сих пор.

Ш а х а ш : А чего я такого плохого сказала?! (Якоби уходит)
Как я унизилась, как унизилась! Вечно я со своими фокусами!
Экая дура! (пауза) Ну, ничего, Рутинька, еще чуточку терпения,
день расплаты придет. Он еще запоет у тебя! А пока — не терять
здорового смысла. Теперь-то я понимаю — главная была у меня
ошибка, что против воли Итамара впустила в дом Лайденталья,
этот свадебный подарок. Путается себе этот свадебный подарок
промеж ног, а для кого и для чего — поди пойми. Если нам с Ита-
маром в постель хочется, так он как раз выколачивает матра-
сы, а как хотим принять ванну, он замачивает в ней белье. Хотим
кофе — он чинит плиту, а не хотим кофе — так он выпивает весь
кофе сам. Нет в доме места, где не натыкаешься на него каждую
минуту! (проходит Лайденталь) Видали?! Это он — источник всех
бед и несчастий, это он разрушил семейную гармонию, он подтаци-
вает нашу семейную жизнь с первой же минуты, он — и только он!

Картина 27. Дом Якоби и Шахаш. Ночь. Лайденталь.

Л а й д е н т а л ь : Ну, я уже, как всегда, жду чего-то недоброго.
(размахивая мухобойкой, которую держит в руке, входит Шахаш)
Гоните меня, как муху, а?

Ш а х а ш : Естественно.

Л а й д е н т а л ь : Вам плохо, так гоните меня. Не так, что ли?
Использовали без зазрения совести, а теперь выбрасываете. Ну и
выбрасывайте. А только знаете ли вы, — ведь после того, как я
столько у вас прожил, шансы-то найти себе невесту у меня поуба-
вились.

Ш а х а ш : А ты можешь поверить, что нас это мало интересует?

Л а й д е н т а л ь : Конечно, как тут не поверишь?

Ш а х а ш : Вот и убирайся без лишних разговоров. Будто и не
был. И не бери в голову, что нам от этого радость или печаль.
У нас и в мыслях ничего такого нет. Мы тебя равнодушно, как
стоптанную обувь, выбрасываем.

Л а й д е н т а л ь : То-то и оно. Только знайте, что и у меня к
вам ничего нет. Пусто на душе. Даже страдать — и то не страдал,

как надо. Нет, не таким представлял я себе свой конец. Я оставляю вас разочарованный и неудовлетворенный.

Ш а х а ш : Ладно, хватит мне с тобой болтать. И для муженька надо что-то оставить. Убирайся.

Л а й д е н т а л ь : О да. Где же мой портфель? Вот он. Идем, портфель, пройдемся, сделаем вид, что мы заняты. Согласен? Ты устал, я знаю. Вот я присяду отдохнуть — и ты получишь передышку. (берет в руку портфель) Прощай, Яакоби. Я же знаю, ты стыдливо подглядываешь в замочную скважину. Лишь я один понимаю, как тебе, в сущности, плохо. Но увы, мне от этого уже никакой радости.

Ш а х а ш : Вон!

Л а й д е н т а л ь : Сию минуту. Спокойной ночи. Так я иду, хотя с таким же успехом мог бы и остаться. А если бы оставался, то точно так же мог бы и уйти. (все еще стоит на месте)

Ш а х а ш : Ты чего ждешь?

Л а й д е н т а л ь : Виноват, но что-то не тянет меня двигаться.

Ш а х а ш : Так что хочешь, чтобы тебя выволокли за шкуру?

Л а й д е н т а л ь : Еще как! (Шахаш хватает его за шиворот; Лайденталь силой высвобождается, поет)

“МОЙ ДРУГ, МОЙ БРАТ, ТОВАРИЩ ПО СТРАДАНИЮ”

Мой друг, мой брат, товарищ по страданию
С пеленок мы зависим от груди.
Сначала матери пихали в наши рты
Тугую белизну своих поилищ,
Чтоб мы из них сосали молоко.
И не дано нам права возражать.
Закляты мы молочным заклинанием,
Шаманством нежным... Говоря короче,
Грудь — опиум для младенцев.

Потом росли, груди уже не видя.
Их женщины запрятали под лифчик
(Сегодня, впрочем, это уж не так) .
И сразу же установили цену
За право видеть, трогать, целовать
Закляты материнским молоком,
Мы потеряли право обладанья
И превратились в неких грудоманов,
Создав из этого товара культ.

Мой друг, мой брат, товарищ по страданию!
Уж час пробил установить всю правду :
Грудь — это просто жировой мешок,
Расплывшийся бурдюк, бескровная припухлость,
Сырое, студенистое суфле,
Дрянной товар, навязанный рекламой,
Бескостный горб, висящий впереди,
Нелепой формы, да к тому ж увенчан
Отростком цвета грязи.

Признай, мой брат, что грудь крива, крива,
Неправедна, безвыходна и лжива.
Освобождайтесь же от чар грудей!
Записывайтесь в парашютисты!

(нагибаясь, подступает к Шахаш, та его хватает) Да, вот так, сил-
лой! Другого языка я не понимаю! Вот так, чудесно! (Шахаш тя-
нет его к двери)

Ш а х а ш : Каков наглец. Чуть было злость на него не затратила.
(входит Яакоби) Ну, наконец-то мы одни. Ты доволен?

Я а к о б и : Нет.

Картина 28. Дом Яакоби и Шахаш. Вечер. Яакоби и Шахаш.

Ш а х а ш : Ладно, хватит тебе, Итамар, забудем все, что было.
Начнем жизнь по новой. (обнимает его; Яакоби старается высво-
бодиться)

Я а к о б и : Уж и похоти-то нет. В теле холодно так, неприятно.
Ну, почему я такой? Почему я должен тужиться, чтоб захотелось
малость? Почему у меня ничего не выходит запросто? Влюбиться —
прилагай усилия, и чтоб захотелось — тоже, и насладиться вдо-
сталь — нужно заставлять себя. Почему? (пауза) Знаешь что, по-
хоть, не буду я больше стоять и ждать тебя, как идиот, и умолять,
чтоб ты меня наполнила. Придешь ты, не придешь — мне без раз-
ницы. Не придешь — черт с тобой, я, со своей стороны, прекращаю
хотеть.

Ш а х а ш : Итамар, а Итамар, смотри-ка, что здесь есть. Ну-ка,
что это здесь у тети? Сися. Сися-сисечка, сися сисевна. Ой, смотри,
она скачет! Смотри, Итамар, видишь? Здорово, а? Гоп-гоп-дири-
гоп, гоп-гоп-диригоп! Вот ведь здорово, а? А вот еще сися. То сися
одна, а это другая, сися сисевна и сися титевна. Обе скачут, шалят,
гоп-гоп-диригоп, гоп-гоп-диригоп. Ведь здорово, а, Итамар! А что
это у нас здесь? А-а, Гранд-Попа! Про нее мы совсем забыли. Она

сзади, и потому о ней совсем забыли. Ого, она тоже скачет — бум-бум-дирибум, — все сегодня скачут... Что это, День Независимости? Ну-ну-ну, проказницы. О-о, а вот ляжки, а вот голени, а тут живот, а у живота внизу есть таинственная пещера, нарочно для забав нашего Итамара. А вот губы, и две руки, и плечи... Ой, как много всего. И чье все это? Итамара, прелестного Итамара, Итамара-цветика, Итамара-мальчика. Ведь ты же хочешь поиграться с ними, Итамар? А, Итамар? Вот сейчас комар-Итамар сядет и станет играть со всеми своими игрушками. Ну, иди, Итамар, иди, поиграйся с игрушками Руточки, ну!

Я а к о б и : Прекрати делать из себя посмешище. Мне же советно из-за тебя.

Ш а х а ш : А мне нечего стесняться, Итамар. Чтоб тебя удержать, я готова опозорить себя как хочешь.

Я а к о б и : Но ты же меня все равно не удержишь! Не удержишь! (поворачивается уйти)

Ш а х а ш : Куда ты, Итамар?!

Я а к о б и : Ухожу да и все.

Ш а х а ш : Нет! Ну нет, Итамар, не уходи! Вспомни, как я заволаживала тебя, Итамар. (обвивает его ногу) О, Итамар, мой Итамар! Дай мне заморозить тебя сейчас, Итамар! Я не стыжусь, мне все равно. Смотри, что ты со мной делаешь, а мне все равно... О, люби меня, сжался надо мной, Итамар, мне не стыдно тебя умолять. Посмотри, что ты со мной вытворяешь, я тебя ненавижу, могила для тебя уже вырыта. Нет, нет, не уходи, я твоя, позволь мне... Ты унизил меня, уничтожил меня, я убью тебя, Итамар. Я люблю тебя, иди ко мне, ты же знаешь, некуда тебе идти, нет у тебя никого лучше меня. Провалишься в тьму до самой смерти, если уйдешь. Не уходи. Может, вначале я была слишком трудной, капризной, но я же тебя люблю, я буду послушной, не буду капризничать, как ты захочешь — все так и будет, что скажешь — все буду делать, я твоя. Вот. (целует его туфли)

Я а к о б и : Ты же слюнявишь мне туфли, сука. Мои замшевые туфли. (вырывается из ее объятий)

Ш а х а ш : Хорошо, хорошо, я не буду их слюнявить, я тебе их высушу... Они будут сухие... Я люблю тебя... Я больше не могу, я умру, умру... Я этого не вынесу. Начнем вновь... Все снова... Итамар... Итамар... Я буду хорошая... хорошая... (глухо рыдает)

Я а к о б и : Нечего тебе винить и казнить себя. Я бы все равно ушел.

Ш а х а ш : Но почему?.. Почему?..

Я а к о б и : А потому. Бывай.

Ш а х а ш : А кто ты такой, что тебе можно меня бросать? Помятый человечешко в помятой шляпе! (Якоби уходит) Прямо из рук выскользнул. Все карты спутал. Ошиблась во всех расчетах. Дура! Дура несчастная! Процент-дивиденд собралась уже получать со своих счетов. Тяжкая дура толстомясая, такая толстомясая! Умница, а?! Сама умная, а мясо так и трясется, так и трясется. Можно подумать черт знает что! Хорошо тебе, жирная, а?! Красотища! (пауза) Одинокая и опозоренная. Надоело мне. Противело. (поет)

“ПОТЕРЯЛА ЕГО Я”

Мне ясно уже: потеряла его я.

Потеряла, ничто не поможет.

Он шел мне навстречу, но мы разминулись.

Я обернулась и руки раскинула — остановить

Куда там! Как рыбка, меж рук проскользнул и — фюить!

Опустится вечер. Присяду к окну я.

Посижу. На улицу выйду.

С застывшей улыбкой, увешана цацками

Снова вступаю я в свой заколдованный круг

Все, что хватаю, — тотчас ускользает из рук.

Картина 29. Улица напротив балкона Лайденталь. Лайденталь на балконе. На улице появляется Якоби.

Я а к о б и : Привет.

Л а й д е н т а л ь : Привет.

Я а к о б и : Ушел я от нее.

Л а й д е н т а л ь : Ушел?.. Совсем?

Я а к о б и : Ага.

Л а й д е н т а л ь : Совсем-совсем?

Я а к о б и : Ну да. Можем теперь снова сидеть на твоём балконе и забивать козла.

Л а й д е н т а л ь : Конечно, конечно. (исчезает с балкона)

Я а к о б и : Эй, Лайденталь! Лайденталь! (Лайденталь появляется на улице с портфелем в руке) Ты куда?

Л а й д е н т а л ь : Да я просто... Нет, правда, просто... Занят я, по делам.

Я а к о б и : Марш на балкон сию же минуту!

Л а й д е н т а л ь : Мне всегда к ней хотелось, только я себя сдерживал. Долой сдержанность!

Я а к о б и : Ну раз так, то я от нее не ушел. Я возвращаюсь к ней. (пауза) Может, партийку в козла, а? Послушай, может, я тебя обидел, как бы ногу тебе слегка отдал — да ведь не сверх же дозволенного! В конце-то концов мы же приятели, так или нет? Ведь как говорится? Ближнего своего люби, как самого себя.

Л а й д е н т а л ь : А все-таки меня так и порывает податься к ней. Если ты к ней не идешь, то пойду я.

Я а к о б и : Я иду. (появляется Шахаш)

Л а й д е н т а л ь : Ой, она здесь. (Якоби подходит к Шахаш; пауза)

Я а к о б и : Впрочем, ладно, можешь к ней идти. Она наверняка согласится. Претензии-то ее каждый раз, как ее бросают, уменьшаются на два-три разряда.

Ш а х а ш : Ни слова я не слышу. Лишь мелодии, мелодии...

Л а й д е н т а л ь : (приближается к Шахаш) И все-то у нее, как было. Ничего не утрачено. И все это будет мое. (пауза) Я... Попробовать?.. Как это вообще?.. (пауза) Во всяком случае, если бы захотел, смог бы. Запомните вы все: если бы захотел, смог бы.

Картина 30. Улица. Якоби. Лайденталь. Шахаш. Каждый про себя.

Ш а х а ш : Может, мне все же рискнуть и выйти за этот Свадебный Подарок — Давида Лайденталья?

Я а к о б и : А может, стоит мне вернуться к ней, раз уж доказал, кто здесь командует?

Л а й д е н т а л ь : В Австралию перебраться, что ли? Страна на подъеме, дает обездоленным все возможности.

Ш а х а ш : Или послать всех мужиков раз навсегда к черту, стать монахиней и всерьез заняться музыкой?

Я а к о б и : А не приискать ли мне другую жену — на этот раз с небольшой задницей и без художественных наклонностей?

Л а й д е н т а л ь : А может, в Канаду? Но там ведь холодище.

Я а к о б и : А может, дай-то Бог, попаду я в безнадежном состоянии в больницу и там окочурюсь?

Ш а х а ш : А не то впрячься в политику и отомстить мужикам за все, что они мне наделали?

Я а к о б и : Ох, кто знает, что нам стоит и что не стоит?

Л а й д е н т а л ь : А если и знает, то, может, он ошибается?

(пауза) Так проходит время — весна и лето, осень и зима, цветения и увядания. До чего хорошо жить во всякое время года! Будто приготовил кто-то для твоего счастья картину с прекрасным фоном, только встань — и будешь счастлив. Но ты стоишь, окаменелый, ничего не делаешь, погружен в свои страдания, все откладываешь на завтра, а время пока идет, и ты чувствуешь что прокисаешь. А все-таки не сдвинешься с места и с горьким ощущением расточительности и сожаления смотришь, смотришь и не делаешь ничего. (поют)

“ЗАВТРА КУПЛЮ ПИАНИНО”

Ш а х а ш :

Завтра куплю пианино.

О, моя любовь!

Завтра куплю пианино.

Надену белое платье.

И в сумерки, когда прольет закат на землю кровь,

Я сяду и сыграю вам. О, моя любовь!

Завтра куплю пианино.

Я а к о б и и Л а й д е н т а л ь :

О, моя любовь!

Не купишь ты пианино.

Всегда ты будешь надевать одно и то же платье.

И в сумерки, когда прольет закат на землю кровь,

Печально улыбнешься ты. О, моя любовь!

Не купишь ты пианино.

*Перевел с иврита Валерий Кукуй, песенки
(кроме указанных в тексте) перевел Барух
Камянов*

Во всем виновата Рахав — та замечательная женщина из Иерихона. Вначале она оказала гостеприимство двенадцати разведчикам, которых Моисей послал из пустыни, дабы внимательно обследовали страну и доставили ему подробное донесение. Спустя некоторое время, после смерти Моисея, в дом Рахав явились двое новых разведчиков, усталых, измученных — Элимелех и Элифалет, — и попросили, чтобы она помогла собрать информацию для израильской службы безопасности, которую народ, вышедший из Египта и круживший по Синаю не много, не мало сорок лет, прозвал "Шин-бет".

— Как поживает Моисей? — спросила Рахав.

— Умер, — ответил Элифалет.

— Иисус Навин его преемник, — сказал Элимелех.

Рахав намыливала разведчикам спины. Они сидели в ванной, два дикаря из пустыни. Их волосы, ниспадающих до самых плеч, никогда не касалась рука парикмахера.

— Иисус... Это, случайно, не тот, которого раньше звали просто Сус? — спросила Рахав, закутывая нагие тела обоих разведчиков в вышитые шелковые халаты.

— Знакома с ним? — спросил Элифалет.

— Запросто, — ответила Рахав.

— Он не передавал мне привет?

Игаль Мосинзон

ИЩИ ЖЕНЩИНУ

— Нет, — ответил Элимелех. — Твой адрес нам дал Калев сын Ефуне.

— Он зол на меня, этот Иисус, — рассмеялась Рахав.

— Почему? — спросил Элифалет.

— Представьте себе, мальчики, Иисус Навин — он у вас генерал или что-то в этом роде, но для меня, как для профессиональной женщины, мужчина есть мужчина, и мне не важно, сколько у него звезд на погонах. Вот так-то. Кто мне понравился — это как раз рядовой, тот, из колена Нафталиева, Нахби сын Вафси...

— Нахби? — удивился Элифалет.

— Он самый, Нахби, — ответила Рахав. — Высокий такой, молчаливый. И глаза у него бешеные, такие серые, большие. И все-то у него большое, у этого Нахби сына Вафси. А на генерала Иисуса я вовсе внимания не обращала, только на Нахби. Не то, чтобы грубила или что-нибудь... Нет... Но с Нахби мы крутили на всю катушку, а генерал от зависти готов был лопнуть. И нет, чтобы шпионить здесь за местной армией, — Иисус ваш только и занимался тем, что следил за мной и Нахби. То-то и оно.

Разведчики поражались тому, что слышали их уши.

— Иисус рассказывал кому-то, будто эта страна сочится молоком и медом, — вспомнил Элифалет.

— С чего это вдруг ей сочиться? — рассмеялась Рахав. — И молоко, и мед Иисус получал у меня в доме.

— И эти двенадцать разведчиков не выходили шпионить? — пролепетал Элимелех.

— Они и носу не высунули наружу из моего дома, — ответила Рахав. — Был такой зной, что даже собаки не вылезали.

— А как же с виноградной гроздь? — воскликнул Элифалет со всем гневом, какой позволяли мягкие ковры, в которых он утопал.

— Какая-токая гроздь? — удивилась Рахав и принялась настраивать арфу — музыкальный инструмент, чье звучание пробирало этих дикарей из пустыни, явившихся на разведку, до глубины души.

— Иисус и Калев сын Ефуне принесли такую большую виноградную гроздь, что им пришлось тащить ее вдвоем на шесте, — сказал Элимелех и налил себе виноградного вина.

— А-а, эта гроздь... — Рахав сорвала несколько звуков со струн своей волшебной арфы. — Я купила ее на иерихонском рынке.

Разведчики переглянулись. Им было не по себе.

— Она, вроде бы, не врет, — сказал Элимелех и отпил вина. — Если бы Иисус со своими людьми на самом деле что-нибудь разведали, зачем было посылать нас?

— Немного музыки? — предложила Рахав.

— Минуточку, — сомнение слышалось в голосе Элимелеха. — Так значит, эта страна не сочится молоком и медом? Значит, и виноград в ней не растет?

— Все здесь есть, — ответила Рахав. — И вино, и музыка, и жратва, но это было не так-то просто — насытить дюжину голодных мужиков, которые только безводную пустыню и видели десятки лет... Однако все ушли довольные, кроме этого завидущего генерала. Он думал, что из-за его чина всё только ему и положено. Но я же сказала, что влюбилась в Нахби сына Вафси. Имя-то какое приятное — Нахби... Может, еще песню о нем сложу.

Она восседала на взбитых вышитых подушках, красивая женщина в декольтированном платье, глаза подведены сурьмой, ресницы покрашенные, вся в браслетах, серьгах и перстнях.

— Что делать-то будем? — спросил Элифалет Элимелеха. — Выходим ночью на разведку?

Элимелех пожал плечами. Видно было, что ему тут удобно, приятно.

— Уж найдем, что рассказать, — ответил он. — Иисус говорил ведь Моисею, что эта страна сочится молоком и медом. А мы расскажем Иисусу, что видели таких великанов, против которых сами себе показались кузнечиками.

— Лучше вам со своими коленами пройти на север, — посоветовала Рахав. — Там, в Ливане, кедры растут, и земля там тучная, и воды много.

— Но Господь обещал нам страну Израиля, — заупрямился Элифалет.

— Ну, как вам угодно, — уступила Рахав. — И то, опротивели мне уже все эти хананеи, и евеи, и хеттеи, и аморитяне. Их-то бабы им, видите ли, надоели, так они начали изобретать всякое-разное... Может, и вправду, лучше, если приведете свои колена из пустыни... Вот уж поистине мужики со здоровым вкусом, и не совсем еще испорченные.

Так вот и случилось, что эта удивительная женщина по имени Рахав повернула ход истории. Если бы не ревность генерал-полковника Иисуса Навина из колена Эфраимова к рядовому Нахби сыну Вафси из колена Нафталиевого — вполне возможно, прошли

бы мы еще немного на север, до страны кедров, и уберегли бы себя от кучи всяких напастей.

... Говорят: ищи женщину. Незачем искать — она сама всегда тут как тут.

Перевел с иврита Валерий Кукуй.

Книготоварищество "Москва—Иерусалим"

предлагает следующие книги

ДЖОЗЛЬ КАРМАЙКЛ. "ТРОЦКИЙ" (300 стр.) — впервые на русском языке объективный рассказ о человеке, который был главной движущей силой октябрьского переворота в России. Книга читается как острый психологический детектив. цена 14 долларов

ЗДУАРД КУЗНЕЦОВ. "МОРДОВСКИЙ МАРАФОН" (256 стр.) — дневники всемирно известного автора, вынесенные из-за колючей проволоки каторжных лагерей Мордовии, наблюдения и мысли человека, пережившего 16 лет лагерей, разделенных смертным приговором, и не утратившего вкус к жизни и трезвость взгляда. цена 10 долларов

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ПРАХ И ПЕПЕЛ" (192 стр.) — пьесы о жути советского бытия, его абсурдной свирепости и ошеломляющей нищете; две из вошедших в сборник пьес были с успехом поставлены в Нью-Йорке, две в Иерусалиме и по одной снят художественный фильм в ФРГ. цена 4 доллара

"КНИГА МАККАВЕЕВ" (128 стр.) — русский перевод с греческого античного оригинала, книга-хроника первой в истории человечества религиозной войны с ее героизмом и жестокостью. цена 6 долларов

ИЛЬЯ РУБИН. "ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ" (300 стр.) — посмертное издание творческого наследия безвременно скончавшегося поэта и эссеиста, одного из лучших в эмигрантской литературе, чьи блестящие и острые статьи вызывали яростную полемику в печати. цена 7 долларов

Цены в Израиле — 50 процентов объявленных здесь.

ЗАКАЗ НА КНИГИ И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW—JERUSALEM", СЛЕДУЕТ ВЫСЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW—JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.

РАЗДУМИНЫ

Элита — избранные представители толпы.

Если поставить рядом простых людей из СССР, США, Индии, Израиля и Уганды, то они будут похожи друга на друга, как пять инфузорий.

Мы политикой не интересуемся, но политика интересуется нами.

Я политику не люблю. Я люблю жареную курицу. Но если курицы нет в продаже или она мне не по карману, я задумываюсь о причинах этого. То есть я думаю о политике.

В Израиле есть порядок. Все: магазины, поезда, автобусы — работает по расписанию. Беда в том, что никто этого расписания не знает.

Это на Западе на почтовых конвертах человек пишется на первом месте, а в СССР на первом месте пишется государство.

Есть книги, которые могли бы изменить ход истории... если бы их кто-нибудь прочитал.

Завод ядохимикатов имени Дзержинского.

Наградить Московскую Государственную Хоральную Синагогу орденом Октябрьской революции и впредь именовать: "Московская Государственная Хоральная ордена Октябрьской революции Синагога имени Богдана Хмельницкого".

.. а еще в кипе!

Интеллигент презирает политику. А потом удивляется: министры — идиоты, премьер — дегенерат.

Сила России в том, что там на место правительства идиотов может придти правительство только еще больших идиотов, под которых подкапываются такие идиоты, что их уже совсем невозможно вообразить.

В Китае вместо Бога — культ начальства. Там, видимо, Октябрьская революция произошла 4000 лет назад.

Заповедь первая: не говори о политике с простым человеком.

Заповедь вторая: не говори о политике...

Заповедь третья: не говори...

Самое большое несчастье для народа — жаркий климат его страны.

Исторические события происходят дважды: один раз как трагедия и второй раз как катастрофа.

Мир — это короткий перерыв между длинными войнами.

Верь глазам своим!

Троцкий — блестящая посредственность. Сталин — заурядный гений.

Не шутите и не шутимы будете.

Большинство наших политических деятелей совершенно обоснованно считают своих избирателей баранами, но при этом совершенно необоснованно исключают из этой категории самих себя.

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ



...Еще через три минуты я увидел сына..." (стр. 127)

Михаил Азгурский

ЛИВАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Легко быть "поджигателем войны" и "воинствующим милитаристом" издалека. В те — далекие ныне — июньские дни 1967 года не я один ликовал в Москве, восторгаясь "легкой" победой Израиля. А ведь в этой "легкой" войне только убитых было 600 человек.

С той же убийственной наивностью я спрашивал израильтян в 1975 году, почему победоносная война Судного дня оставила такую глубокую травму в израильском обществе. До меня не доходило, что значила гибель 2500 человек для такой страны, как Израиль.

Ливанская война не была моей первой "личной войной". Война 1941—1945 годов глубоко задела и даже перевернула мою жизнь, хотя я и был тогда ребенком. И все же до приезда в Израиль я непосредственно с войной не соприкасался.

Судьба однако меня не миновала.

Уди Михаэли

В мае 1982 года, примерно за месяц до начала войны, я присутствовал на традиционной церемонии присяги, которую принимали молодые солдаты пехотной бригады "Голани" — одной из лучших частей израильской армии. Присяга эта принимается после полугода тяжелой уче-

бы, которую выдерживают далеко не все. Среди присягавших в тот день был и мой сын.

Многих из тех, кого я видел тогда, сегодня уже нет в живых. Они погибли в Ливане. 45 убитых и более 200 раненых — таковы потери бригады за время этой войны.

Бригада "Голани" вступила в боевые действия в первые же часы. Взяв Бофор (и потеряв только там 8 человек, включая рав — серена (майора) Гуни Харника, активиста движения "Мир сегодня"), "Голани" двинулась к Бейруту, захватила Набатию и Сидон и уже в начале второй недели войны вышла к южным окраинам бейрутского аэропорта.

Все это я узнал намного позже. В те дни я находился в сильнейшем напряжении. Лишь на восьмой день военных действий, около полуночи, мне позвонил человек, назвавшийся пилотом вертолета, и сообщил, что сын жив и здоров, хотя и не сказал, где он находится. Потом пришли две открытки — тоже неизвестно откуда.

В конце второй недели я тоже получил повестку. Незадолго до войны меня перевели в так называемый "лекторский отдел" армейского просвещения, и вот теперь война дала мне первую возможность выступить с лекциями в действующей армии.

В израильской армии нет политической пропаганды в том виде, как она существует в СССР. Она даже прямо запрещена, ибо при наличии парламентской системы такая пропаганда неизбежно приняла бы партийный характер. Израильский лектор — не политрук. Мне, как советологу, поручили лекции о международном положении, на деле же я мог говорить — и говорил — на любые темы по собственному выбору.

На сборном пункте лекторской группы я застал многих известных израильтян — писателей, журналистов, ученых, крупных чиновников, политических деятелей. Выходцами из России были только я и мой друг Дмитрий Сегал, профессор славистики Иерусалимского университета.

Инструктаж мы получали в Хайфе. Уже тогда в группе стало ощущаться известное напряжение. Некоторые лекторы принадлежали к движениям и партиям, выступавшим против войны, и всячески старались показать, что войну не одобряют. Вспыхнула перепалка между Мироном Бенвенисти, бывшим заместителем мэра Иерусалима и соратником Шуламита Алони по "Движению за гражданские права", и Эйтаном Гильбоа, делавшим обзор международного положения.

В перерыве я столкнулся с Ави Равицким, специалистом по средневековой еврейской философии. Равицкий — представитель левых религиозных кругов, имеющих своих посланцев даже в Кнессете (Авраам Меламед из Мафдала, рав Менахем Акоэн из Маараха). Мы разговорились, и Равицкий назвал войну “ненужной”. Я возразил, что война уже принесла, по крайней мере, один существенный результат — Советский Союз отказался от вмешательства в нее на стороне палестинцев или Сирии.

— Ну, я не могу смотреть на все с глобальной точки зрения! — вспыхнул Равицкий.

В казарме, перед сном, я разговорился с другим лектором — Гершоном Вайлером, профессором философии Тель-Авивского университета. Я полагал, что он принадлежит к движению “Мир сегодня”. Оказалось, что я ошибался. Волосатый, похожий на какого-нибудь “деревенского” писателя, Вайлер искренне обрадовался, когда я заметил, что такие люди, как Бенвенисти или Алони, крайне необходимы в Израиле, но — как меньшинство.

Утром в автобусе я сказал Бенвенисти:

— Конечно, ты и Алони — наша совесть. Но ведь кроме совести человеку нужны и все прочие чувства.

Бенвенисти слегка смутился, а стоявший рядом Вайлер ехидно осклабился. Тогда Бенвенисти стал пылко доказывать, что он руководится не только совестью, но и трезвыми политическими расчетами. Представление о “расчетах” плохо вязалось с обликом этого круглолицего и прекраснородушного сефарда. Недели две спустя мы снова встретились с ним в уютном иерусалимском кафе и очень мирно поговорили. Он опоздал тогда на встречу — застрял по пути из Рамаллы, где принимал участие в арабском митинге протеста...

Около границы нас начали сортировать по воинским частям, и я попросил направить меня в “Голани”. Еще некоторое время спустя наша бригада, куда входили поэт Давид Левиатан, писатель Шамай Голан и несколько других, уже пересекала границу.

В Южном Ливане я уже был однажды, в 1979 году, и даже ухитрился перекинуться несколькими словами с майором Хададом. Вблизи границы это довольно невзрачная страна, однако вид ее резко меняется, когда спускаешься к морю, в районе Цура. Я уже знал тогда, что “выдающиеся деятели советской культуры” — Евтушенко, Бондарев, Карпов, Чаковский, Хренников, Райкин —

списали Цур вместе с Набатией с лица земли, обвинив в их "полном разрушении" израильских "преступников".

Но не вид этих городов, (кстати, не очень даже разрушенных) поразил меня, скажу честно, в эти первые часы. Было другое — потрясающее — впечатление от гигантской демонстрации израильской военной силы. По всем дорогам непрерывно тянулись танки, бронетранспортеры, самоходные и несамоходные орудия, автобусы с солдатами, вереницы грузовиков. По обочинам расположились части техобеспечения, базы снабжения, бензозаправочные станции, госпитали. Солдаты в касках, сидевшие в проезжавших танках и джипах, внушали ощущение уверенной мощи.

Штаб дивизии, куда нас направили, был разбит на окраине Дамура, на территории когда-то роскошного клуба, от которого теперь сохранились лишь стены здания и большой бассейн с остатками протухшей воды. Дамур действительно был сильно разрушен. Этот, в прошлом христианский, город был в начале ливанской гражданской войны занят палестинскими террористами, которые частично вырезали, частично изгнали местное население. Стены клуба были оклеены плакатами и исписаны лозунгами, в большинстве своем — ООПовскими. Один лозунг был исполнен по-чешски: "Ах, жийе наша Палестина!" С каких это пор Палестина стала чешской?!

Свою лекционную деятельность я начал под грохот наших 155-миллиметровых орудий, расположившихся у самого моря на банановых плантациях. Начало было не особенно удачным: артиллеристы устали после двухнедельных боев и на лекции начали дремать. Я быстро свернул беседу, а возвратившись в штаб, стал выяснять, где находится "Голани". Оказалось, что она стоит в нескольких километрах северней, ближе к Бейруту. Через час я был в штабе бригады, где встретил уже знакомого Равицкого и его коллег — хозяина туристской фирмы Узи Митана, профессора Хайфского университета Натана Янная, одного из ведущих инженеров "Тадирана" Ури Эргата.

Офицер службы просвещения "Голани", Иегуда, который вполне мог сойти за коренного волжанина, тут же взялся устроить мне встречу с сыном. Выяснилось однако, что его рота занимала передовую позицию на территории аэропорта, под непрерывным обстрелом, и проехать туда невозможно. Штабной связист по спецлинии позвонил в роту и передал сыну, что я рядом.

Время от времени то тут, то там взрывались снаряды террорис-

тов, а один раз залп их "катюш" угодил в море прямо рядом с нами. Но это не шло ни в какое сравнение с интенсивностью нашего огня. Мы сидели с Равицким и говорили о стихах Хаима Гури. Несколько дней назад я прочел гуриевское "Жертвоприношение Ицхака" и воспринял его, как осуждение того, что взрослые посылают на войну своих детей. Почему война — удел молодежи? (Позже Гури объяснил мне, что он-то хотел выразить иную мысль: каждый еврей живет с постоянным чувством занесенного за его спиной ножа). Над нами рвались снаряды, а мы — еврей из России и уроженец Иерусалима, выходец из юношеского религиозного движения "Бней Акива", — спорили о стихах Гури, философии Рамбама и кабалистике Абулафии.

Наутро, вместе с Узи Митаном, мы отправились в один из батальонов "Голани". Батальон был отведен на отдых после двухнедельных боев. Солдаты "отдыхали" в недостроенной гостинице в Хальде, всего в нескольких километрах от фронта. Широкая гостиничная лестница, устланная ковровой дорожкой, производила странное впечатление. В холле, на стопке кафельной плитки, красовалась записка: "Зеирут, римон!" ("Осторожно, граната!") И действительно рядом лежала советская граната. Неожиданно появился котенок и вызвал всеобщую панику, потому что решительно направился прямо к гранате...

Лекция в батальоне прошла бурно: меня засыпали вопросами. Тон задавал командир, которого все называли Уди.

— Почему мы не штурмуем Бейрут? — приставал он ко мне.

Я ответил, что служу не в генштабе, а всего лишь в лекторской группе, но по моему скромному разумению отказ от штурма продиктован желанием избежать лишних потерь. Гораздо лучше установить настоящую блокаду и заставить террористов уйти.

— Нет, ты неправ, — сказал Уди. — Конечно, штурмовать нужно, но мы же — израильская армия, хотим, чтобы не пострадало мирное население...

Таким я запомнил Уди Михаэли, пока судьба вновь не забросила меня в его батальон — два месяца спустя.

На следующий день я должен был выступать еще в одном батальоне, но вечером мне сказали, что "Голани" срочно перебрасывают на восточный фронт, против сирийцев. С тяжелым сердцем направился я поутру в Бейрут.

У выхода из города тянулась бесконечная вереница машин с беженцами. Впервые в жизни видели они израильтян и с нескры-

ваемым изумлением смотрели на нас. Представляю себе, что им о нас рассказывали! И тем не менее они бежали из Бейрута на юг — в израильскую зону. Я думал о том, какое впечатление должна производить наша армия на ливанцев и палестинцев, если даже меня, выдавшего московские военные парады, потрясала наша армейская мощь? Вероятно, мы внушали им такой же "священный ужас", какой в древности внушали местным племенам неведомые доселе армии Александра Македонского или римские легионы.

Вечером того же дня мы оказались в богатом предместье Бейрута — Кфарсин. Первые жители, осмелившиеся вернуться в свои дома, смотрели на проходившую мимо израильскую танковую колонну с тем же нескрываемым изумлением и даже некоторым подобострастием. По обочинам дороги стояли обгоревшие Т-55, валялись каски убитых танкистов — несколько дней назад здесь шел ожесточенный бой с сирийской засадой. Неожиданно откуда-то выскочил толстый арабский подросток и истошным голосом завопил "Картуш" (по-французски "патроны"). Мы заглянули в первый этаж строящегося дома — там действительно была навалена куча новеньких боеприпасов, французские противотанковые ракеты и противогазы.

Упитанный, лоснящийся ливанец, взиравший на шедшие мимо танки, то и дело восклицал: "Бьенвеню! Бьенвеню!" ("Добро пожаловать!") .

Не скрою, в эти минуты я ощущал не только гордость, но и некое чувство превосходства сильного над слабым, здорового над больным. В какой-то лавке мой спутник, Ури Эргад, завел нравоучительную беседу с хозяином:

— Почему вы, ливанцы, — укоризненно спросил он, — допустили, чтобы у вас случилось такое? Смотри, вот мы, маленький народ, но мобилизовали все наши мозги...

Хозяин неловко оправдывался.

На следующий день мы возвращались домой. Дорога шла через Джеззин, в центральном горном Ливане, вдоль реки Дамур, протекавшей в живописнейшем каньоне, который напомнил мне о кавказских местах где-нибудь возле Нового Афона. На тенистом пляже мы увидели пять наших танков, рядом с которыми, расклаваясь, молились танкисты. Это была так называемая "ешиват хесдер" — танковая часть, в которой служили только религиозные солдаты, одновременно с армейской службой продолжавшие свои регулярные религиозные занятия. По традиции все студен-

ты таких "ешивот" идут служить в танковые части, где для них организованы "занятия на ходу". Служба в этих частях тяжелее и на год дольше, чем в обычных. В войну Судного дня танковая бригада, почти полностью укомплектованная "хесдерниками", приняла на себя первую египетскую атаку в Синае. Мало кто из них вернулся живым домой. И сейчас, в ливанской войне, около десяти процентов всех погибших, — ученики и выпускники ортодоксальных израильских "ешивот".

Мы проехали через Сидон, где побывали в гавани крестоносцев, и Цур, в котором отправились на древнеримский ипподром. Любители свободы из ООП расположили там свои зенитные пулеметы.

На улицах Цура нам повстречалась группа израильских солдат, говоривших друг с другом по-арабски. Это был батальон израильских друзей, командир которого выполнял обязанности военного коменданта города.

Проехав штаб-квартиру кафкианской империи войск ООН в Накуре, мы пересекли израильскую границу возле Рош-Аникра. Перед нами открылась совсем другая — чистая, благоустроенная, изобильная и спокойная страна. Мы переглянулись. "Земля молока и меда", — негромко произнес кто-то. Чувство изумления не покидало нас всю остальную дорогу до Хайфы. За ней мои спутники начали один за другим покидать автобус — кто в Натани, кто в Рамат-Авиве. Уже вечером я добрался до Иерусалима.

Дома я узнал, что в этот день в боях под Бахамдуном погиб наш сосед, 24-летний студент Эли Прессман, четыре года назад приехавший из Франции и всего год назад отпраздновавший свадьбу. Его жена Яэль, дочь известного французского раввина, осталась юной вдовой с грудным ребенком на руках. А еще через неделю на горе Иродион ударом ножа в спину был убит другой мой сосед, 26-летний Давид Розенфельд. Он оставил вдову Дорит с двумя детьми.

Именами Эли и Давида было названо некоторое время спустя новое поселение в Иудейской пустыне — Эльдавид. Дома трех террористов, убивших Давида, были сметены бульдозерами с лица земли.

Племянник Молотова

Через три недели я снова был в Ливане. На сей раз наша бригада состояла всего из трех человек, и нам выделили собственную ма-

шину. Моими спутниками были Пинхас Шифман, преподаватель юридического факультета Иерусалимского университета, и Ран Сигад с кафедры философии университета в Тель-Авиве. Пинхас был уроженцем Иерусалима, где родились пять поколений его предков-хасидов, выходцев из Турова в Белоруссии, а Ран был из семьи, когда-то приехавшей из Риги. Оба они примыкали к движению "Мир сегодня", и споры наши не прекращались всю дорогу, хотя дружественным отношениям это нисколько не мешало.

Началось с того, что Ран выразил свое мнение о политических взглядах евреев из России. Он был убежден, что все русские евреи — это "Меир Кахане и правее него". Мне стоило большого труда его разубедить.

Накануне нашего приезда в лекторской группе произошло столкновение. Мирон Бенвенисти, которого снова призвали на неделю раньше меня, крупно повздорил с известным ученым Шломо Авинери, который проводил инструктаж по общему политическому положению. Бенвенисти обвинил Авинери в том, что тот призывает к штурму Бейрута. В результате скандала Бенвенисти неожиданно освободили от службы.

После инцидента с Бенвенисти чересчур воинствующих противников войны перестали призывать на лекторскую службу, и вся тяжесть работы легла на небольшую группу людей. На очередном инструктаже естественно возник вопрос: что вообще делать с той полемикой, которая шла в тылу? Обсуждать ли ее с солдатами? Как отвечать на вопросы — брать или не брать Бейрут? Как быть, если лектор сам не во всем согласен с войной? Какие на этот счет существуют директивы?

Ответ был ясный и недвусмысленный: никаких директив. Говорить можно о любых вопросах и спорить на самые острые темы. Нельзя лишь использовать трибуну для межпартийных нападок и призывать солдат к невыполнению приказа. Я спросил: "Это продуманная политика или импровизация?" Мне ответил: "Продуманная".

Вторая поездка в Ливан началась с анекдотичной встречи. Еще в Хайфе я обратил внимание на пожилого человека, явного добровольца, с обветренным и загорелым лицом репинского запоржца, — из тех, что писали ответ турецкому султану. Он был нашим попутчиком до Кирьят-Шмона. Выяснилось, что он из мошава Кинерет, там и родился. Но самое интересное состояло в том, что он оказался племянником... Вячеслава Молотова! Мать

его была родной сестрой Полины Жемчужиной, еврейской жены Молотова, отсидевшей при Сталине лет пять, пока ее муж продолжал оставаться членом Политбюро. Полина переписывалась с сестрой до 1939 года. Мошавник был уверен, что Полину арестовали за какое-то неосторожное слово, сказанное Голде Меир в ее бытность послом в Москве.

В шестьдесят третьем — шестьдесят седьмом годах, когда я еще жил на Арбате, мне часто приходилось видеть опальных супругов Молотовых, которые прогуливались по арбатским переулкам, нежно прижавшись друг к другу и оживленно беседуя. Однажды я даже ухитрился услышать, как Молотов сказал жене: “Страна это большая, но бедная”. Не знаю уж, какую страну он имел в виду — Бразилию, Индонезию или саму Россию? Полина внимательно слушала — старая, уже некрасивая женщина. Мог ли я думать, что через двадцать лет встречу с ее племянником — израильтанином, родившемся на берегах Кинерета?

Ливан поразил меня изменениями, которые произошли всего за три недели. В той самой Набатие, которой, по мнению деятелей советской культуры, больше не существует, следов войны вообще не было видно, во-всю строились новые дома и виллы. Один сильно пострадавший квартал Сидона был снесен, а ремонт поврежденных домов вокруг шел полным ходом. Разбитые стекла исчезли. Магазины ломились от товаров. Куда девались разбитые машины, валявшиеся раньше по обочинам? Теперь по дорогам проносились элегантные лимузины, шли грузовики, набитые стройматериалами, с полной нагрузкой работали гаражи.

У въезда в Бейрут я спросил какого-то солдата:

— Голани?

— Да.

— Знаешь Бени?

— Он в нашем отделении.

— А где он сейчас?

— Часа два назад отправили в сержантскую роту, в Страну.

Некоторое время спустя я снова был в штабе “Голани”, где нас поджидал мой старый знакомый Иегуда. По дороге, заблудившись, мы попали в одну из частей танковой бригады, где накануне произошло событие, взволновавшее весь Израиль: командир этой бригады алуф-мишне (полковник) Эли Гева подал в отставку, мотивируя свое решение тем, что не может взять на себя ответственность за жизнь своих солдат и гражданского населения в

случае штурма Бейрута. Говорят, что Гева при этом просил перевести его рядовым танкистом. Гева был известен в армии как отважный солдат и отличный командир. Он был незамедлительно отстранен от должности и уволен из армии. Позже выяснилось, что причиной увольнения был один из офицеров бригады, который вопреки желанию Гевы сообщил обо всем газетчикам и тем самым поставил командование в безвыходное положение.

Случай заставлял задуматься: что же, каждый офицер или солдат может поступить, как Гева? Мне вспомнилось стихотворение Маяковского о "толстовце" Ване Дылдине, который отказывался от воинской службы, ссылаясь на убеждения. Гева не был Ваней Дылдиным, хотя не исключено, что им руководили политические взгляды. Думаю, что увольняя Геву, командование отлично знало, что у него не найдется большого числа подражателей. И верно, когда мы попали в его бригаду, то обнаружили, что большинство солдат осуждают его поступок. Они зубоскалили на его счет (а зубоскальство в израильской армии — это вторая военная профессия) и спрашивали нас, не вступил ли Гева в Раках (израильскую компартию).

Утверждают, что во время ограниченного штурма Бейрута четвертого августа никто из солдат Гевы не пострадал. Сам Гева устраивается сейчас одним из директоров промышленного концерна Кейтан. В армии его ждала большая карьера.

Первые дни в Бейруте мы провели в одном из предместий, в богатейшей вилле какого-то нефтяного шейха. Здесь расположился штаб 19-го батальона "Голани". Отсюда весь Бейрут был виден, как на ладони.

На следующее утро мы отправились в одну из боевых рот. Я с нетерпением ждал встречи с солдатами. Не слишком ли оптимистичны были те на инструктаже, кто говорил нам о высокой морали боевых частей?

Пинхас и Ран пытались было начать встречу с беседы об... эмиграции (следует ли считать предателем того, кто в эти дни эмигрирует из страны?), но большинство солдат эта тема не заинтересовала. Интересовало их другое — брать или не брать Бейрут. В этой роте все до единого считали, что нужно брать. Какой-то солдат из Нагарии сказал:

— Вы просто не знаете, как нам доставалось все эти годы. Так что лично я — за то, чтобы операцию довести до конца.

На этих людей сомнения в тылу не влияли. В тот же день мы по-

бывали еще в саперной роте, а вечером были гостями ударной группы "Голани" — так называемых "сайерет". Это именно они брали Бофор. Советская "Литературка" утверждала, будто Бофор был взят с помощью химического оружия. Господин Чаковский, смею вас заверить, — никакого химического оружия не было. Были просто вот эти солдаты, которые сейчас сидели передо мной. Они и взяли тот самый Бофор, который та же "Литературка" в декабре 1981 года объявила "вторым Сталинградом" и символом "непобедимости ООП". Я открою небольшую тайну: среди этих солдат были два выходца из России — Давид Д-р и Дани К-н, отцы которых известны русскоязычному читателю в Израиле и за его пределами.

"Сайерет" — отборная часть, попасть туда очень трудно, принимается один из 15—20 желающих. Но и это меркнет по сравнению с морским десантом и ударной группой начальника генерального штаба, куда попадает один на 50—100, добывающихся этой чести.

Короче, это была элита, и командир, великан Эрез, был ей под стать. И все они тоже единодушно твердили: Бейрут нужно брать.

На следующий день мы выступали у артиллеристов. И здесь люди были настроены крайне решительно: штурмовать.

Как и повсюду, мне пришлось здесь говорить о советской политике. Пинхасу и Рану это изрядно поднадоело. Во время одной из бесед мы "схлестнулись" — Ран пустился в прекраснодушные рассуждения о том, что свобода высказываний и критики даже во время войны — это абсолютная ценность, за которую надо платить. Я вскипел. Платить жизнью солдат, которые погибли от того, что террористы не уходят из Бейрута, воодушевленные внутренней полемикой в Израиле? (Я убежден, что так оно и произошло, и десятки жизней наших солдат и офицеров — на совести наших пылких проповедников критики в любой ситуации).

Я резко возразил Рану:

— Ты готов жертвовать чужими жизнями ради абстрактных принципов. Как настоящий философ, ты хочешь подчинить жизнь абстрактной схеме...

Солдаты молча прислушивались к нашему спору.

После лекции мы с Раном уговорились провести следующую беседу именно на эту тему: демократия и война. Случай представился тут же — нас направили в подразделение трофейных "катюш". Командовал подразделением профессор хайфского

Техниона, умный, живой, рыжеволосый человек, а лейтенантом (сегеном) у него был высокий парень, который сразу же меня спросил:

— Ну-ка, угадайте, откуда я...

Йоси девять лет назад приехал из Киева, кончил Технион и работал в фирме "Солель Боне" в одной из африканских стран. Когда началась война, он взял отпуск и приехал воевать.

На беседе было человек шестьдесят. Начал Пинхас. Как юрист, он был, что называется, в своей тарелке. Когда дошла моя очередь, я возразил:

— Если уж мы говорим о демократии, то я должен сказать, что по-моему, демократии в Израиле нет. Есть партократия. Могущественные политические группировки борются за власть и теплые местечки для "своих" и готовы даже национальные интересы страны принести в жертву своим узкокорыстным интересам. Отдельные люди и небольшие группы не в силах конкурировать с большими партийными мафиями. Нашу политическую систему еще только предстоит сделать подлинно демократической.

Командир-технионец одобрительно заметил:

— Потому в США и существует президентский режим.

Какой-то солдат в кипе спросил:

— А что, есть такие "гаоним" (мудрецы), которые предлагали что-нибудь другое?

— Есть, — решительно сказал я. — И евреи, и не евреи. Из евреев могу назвать Авраама Давида Гордона, а не из евреев — князя Кропоткина.

Тут уж я оказался в своей тарелке, пустившись в изложение (с некоторыми поправками) основных тезисов своей статьи 1974 года из сборника "Из-под глыб".

Солдаты еще часа полтора не отпускали меня, расспрашивая о деталях советской политики на Ближнем Востоке — это, как правило, интересовало всех. Позже я признался Рану и Пинхасу:

— Мне никогда не доводилось встречаться или читать о такой свободе высказываний в армии. Я в полной растерянности.

Дальше наш маршрут вел в Хальду, в другое подразделение "катюш", которое стояло прямо напротив знакомой мне недостроенной гостиницы. Записка "Зеирут, римон" еще оставалась на месте, но ни гранаты, ни ковровой дорожки уже не было. "Катюши" как раз готовились к залпу, и я расположился на диване,

стоявшем у входа в гостиницу, намереваясь сфотографировать трассы снарядов. Внезапно диван подо мной почему-то пополз, все вокруг осветилось, как от гигантского зарева. Грохот был такой, будто рушилось небо. С перепугу я нажал кнопку — и засветил кадр.

Обстрел продолжался весь вечер. Один из снарядов попал в склад боеприпасов. Он горел и рвался несколько часов, освещая весь западный Бейрут. Со стороны Бейрута время от времени устремлялись в нашу сторону огненные хвосты вражеских ракет, но все они уходили куда-то в сторону. Чувствовалось, что дело идет к концу: уход террористов из Бейрута — вопрос нескольких дней. Но в субботу Хабиб добился очередного (какого по счету?) прекращения огня, и мы целый день провели в некогда роскошном ресторане, в котором не уцелело ни одного окна. Я перечитывал английское издание "Нашего человека в Гаване" Грэма Грина — книгу, фальсифицированный перевод которой когда-то был бестселлером в России. Одна фраза особенно задела меня — о том, что бывают такие времена и такие занятия в жизни, когда нельзя к чему-то привязываться и глубоко любить: это опасно как слабость, по которой тотчас начинают бить. Я отложил книгу и задумался.

Утром следующего дня обстрел возобновился, и наша группа покинула Бейрут. Мы снова возвращались в Израиль.

Хассан Хуссейни

Накануне своего перевода в сержантскую роту сын предупредил, что если в Бейруте "опять начнется", их школу сразу бросят туда.

Приближение этого "чего-то" я ощущал уже в последние дни второго приезда в Бейрут. Наша встреча с одним из батальонов "Голани" была внезапно отменена — батальон получил срочный приказ передвинуться на передовые позиции.

Пятого августа я подбросил на своей машине парашютиста, который только что вернулся из Бейрута. От него я узнал, еще раньше, чем об этом сообщили, что накануне наши части захватили весь аэропорт, лагерь Аль-Узай, музей и ипподром. Парашютист доверительно сообщил мне, что сержантская школа действует в районе галереи (магазина) Саман, как отдельный батальон.

До 23 августа я не имел от сына никаких известий. В этот день

я снова был в Бейруте в сопровождении двух коллег по лекторской группе. На сей раз нас направили в бригаду парашютистов — и снова в “Голани”.

Ливан, казалось, еще больше зализал свои раны. Приморские гостиницы были отремонтированы, комфортабельные пляжи переполнены. Штаб парашютистов находился в роскошном четырехэтажном дворце, принадлежавшем министру обороны одной из стран Персидского залива. Говорили, что министр благожелательно уступил его израильтянам — может быть, в знак одобрения нашей операции против ООП. Дворец наверняка стоил десятки миллионов долларов. Каждый его зал был отделан в стиле другой эпохи, от ампира до модерна, мебель и светильники выполнены по индивидуальному заказу, все залы подключены к единой стереофонической системе, на каждом этаже — зимние сады (правда, высохшие за отсутствием поливки), в саду — исполинские конуры для собак, которые вполне могли бы сойти за приличные бунгало для туристов, громадные гаражи и огромный бассейн с такой же огромной летней верандой...

За столиком в саду сидел развеселый резервист из штаба и распивал бутылку знаменитого ливанского арака “Захлави”. Он тут же завел с нами доверительный разговор и сообщил, что сейчас он — подрядчик по перевозкам в Хайфе, но настоящая его мечта — уехать в Западную Германию и зарабатывать не меньше, чем зарабатывает там его шурин — 8000 марок в месяц. Пока мы спорили с ним, над дворцом вдруг послышались автоматные очереди. Интенсивность огня быстро возрастала, очереди уже трещали отовсюду, к ним присоединились разрывы снарядов (позже выяснилось, что это были всего-навсего “арпиджи”, ручные противотанковые гранаты, или “базуки”, как их называют на Западе.) Мы не знали, что думать.

Наша растерянность продолжалась недолго. Послышался колокольный звон, и мы поняли, что произошло: Башир Джмайель избран президентом Ливана. Бейрутские марониты выражали свое ликование бешеной пальбой. Мимо дворца мчались на огромной скорости машины с портретом Башира на ветровых стеклах. Водители одной рукой сжимали руль, другой — бутылку виски; сидевшие рядом с ними 15-16-летние девчонки высовывали наружу автоматы и палили в воздух. Их лица сияли от счастья. Наш будущий “делец из Франкфурта” тоже схватил свой автомат и выпустил в воздух целую обойму. Еще счастье, что он ни в кого не по-

пал — все-таки, бутылка “Захвати”! В тот день от шальных пуль погибло много людей, еще больше было раненых. Стреляли все — ликующие христиане, перепуганные террористы и наши. Это было 23-го августа. Я пишу эти строки 15-го сентября. Сегодня в 5 утра радио сообщило, что Башир Джмайель убит взрывом огромной силы в штаб-квартире фалангистов. Кто мог это представить тогда, три недели назад?!

Нас направили в части. Рота, куда я попал, занимала первые два этажа дома, в котором продолжали жить ливанцы. Уже по инерции я спросил, не знают ли солдаты, где находится сержантская школа.

— Да вот тут, рядом, — показали мне на недостроенную башню этажей так в двенадцать, высившуюся в каких-нибудь трехстах метрах от нас.

Командир роты, которого я застал в плавках и обливающегося потом за выполнением какого-то хитроумного гимнастического упражнения, не прерывая своих занятий, приказал дать мне джип и попросил вернуться не позднее, чем через полчаса. Еще через три минуты я увидел сына.

Он сидел за прикрытием баррикады из мешков с песком, возведенной на тротуаре у галереи Саман. В этом месте шоссе Дамаск — Бейрут входит в западную часть ливанской столицы. На противоположной стороне шоссе видны были солдаты ливанской армии, занятые проверкой машин, выезжающих из города. Чуть дальше, метрах в двухстах-трехстах, находились позиции террористов. Дальше тянулась живописная роща, на краю которой стояло здание питомника с чудом уцелевшими стеклами — там, как ни в чем не бывало, торговали саженцами и цветами. Штаб сержантской школы расположился в саду какого-то сторонника Камилла Шамуна, и хозяин угощал наших солдат чаем и кофе. По улице то и дело проносились христианские машины с ополоумевшими девицами, стрелявшими в воздух в честь нового президента, которому оставалось жить только три недели. Это было какое-то фантасмагорическое крошево, невероятный монтаж сюрреалистических осколков жизни: война, пальба, баррикады, израильтяне, террористы — и тут же: мирно пьют чай, продают цветы.

Через полчаса джип вернулся. Я ушел, не оглядываясь.

Восемь лет назад, когда сыну было только 11, к нему, во время моего превентивного ареста, был приставлен сотрудник

КГБ, а вот теперь мы встретились в Бейруте. Жизнь изобретательнее самых пылких фантастов. Она может быть также изобретательно жестокой.

Возможно, тот, кто будет читать эти строки, сочтет, что я как будто ухажу от того, чтобы рассказать о сыне подробнее. Это вероятно не случайно. Что-то останавливает меня. Скажу немного. Сын идет в жизни своим путем, но дорога у нас одна. Впрочем, есть ли разница между путем и дорогой? Нет, дело не в дороге, а в цели, так будет правильней. По собственному почину сын пошел в ешиву рава Кука. Это необычная ешива. Там культивируется спорт. Ученики ходят в обычной одежде и отнюдь не чураются женского общества. Накануне экзамена по русскому языку в ешиве сын был обязан предварительно прочесть, среди прочего, "Преступление и наказание" и "Доктора Живаго". Несколько лет он регулярно выполнял обязанности проводника в пещере Харитона, около развалин древнего византийского монастыря в Иудейской пустыне, неподалеку от древнего Текоа, где странствовал со своими стадами библейский пророк Амос. Через несколько недель сыну предстояло брать Западный Бейрут.

Корреспондент лондонской "Таймс" Дэвид Бонавиа, высланный из Москвы в 1972 году, незаслуженно оговорил моего сына в своих воспоминаниях "Толстый Саша и городской партизан". Он назвал его тепличным растением. Умный человек Дэвид, а здесь ошибся.

На следующий день мы покинули Ливан. А еще через несколько часов на том самом месте, где мы накануне сидели с сыном, снайперским выстрелом был убит наповал Шмуэль Ицхаки, солдат 57-го батальона "Голани", выходец из Индии и внешне ничем не отличавшийся от индуса.

Перед отъездом мы побывали в христианской части Бейрута. Здесь он производил впечатление огромного современного города. Новые его кварталы, спускающиеся к морю, походили на новые кварталы Парижа. В поисках приличного ресторана мы забрели наверх, в восхитительное злчное место Бет-Мэри, напоминающее Швейцарию или южную Францию. Бет-Мэри лежит в горах, поросших сосновыми рощами. Среди деревьев стоят красивые и богатые дома, нарядные магазины, роскошные бутики, публичные дома. Где-то внизу, всего в нескольких километрах отсюда, семь лет полыхала гражданская война, царил хаос, разрушения, гибли люди. Казалось, что здесь об этом никто не знал. Или это никого не касалось...

От связистов мы пошли в штаб "Голани", откуда нас направили в тот самый 18-й батальон, в котором я был два месяца назад. Помнит ли меня там кто-нибудь? Где Уди Михаэли?

Батальон стоял на самой северной окраине Аль-Узаи, за Бейрутским аэропортом. Аль-Узаи показался мне основательно разрушенным. Вдоль всей приморской дороги висел тяжелый, тошнотворный запах, и я имел все основания предполагать, что это не был запах дохлых кошек или собак. Но жизнь уже возвращалась и в этот лагерь. Открылись первые лавки, работали гаражи, во многие дома вернулись их жильцы.

Штаб батальона расположился в одном из домов, принадлежавших авиакомпаниям "Миддл Истерн Эйрлайнз", в квартире пилота компании, капитана Чиппендейла. Капитан бежал из Бейрута в начале июня, когда начались бомбежки и обстрелы, бросив в квартире все, вплоть до личных документов. Два месяца его жилье занимали палестинцы, которые все там перевернули вверх дном.

Я вышел на балкон. Соседний дом зиял пробоинами, сплошь с северной, палестинской стороны. Через разбитое окно я увидел чью-то богатую библиотеку. Во мне разыгрался книголюб. Я спустился из квартиры Чиппендейла и направился к его соседям. И тут царил бедлам — все квартиры взломаны, везде следы хозяйничания палестинцев.

Библиотека меня поразила. Ни одной книги на арабском, зато масса — на английском и французском. На видном месте красовалась многотомная серия книг по классической философии, начиная с античных мыслителей, а также всевозможные энциклопедии и справочники. В красном углу — "Доктор Живаго". Еще больше возросло мое удивление, когда рядом с ним я обнаружил Набокова. А вот и "В круге первом". Можно было бы подумать, что это случайно, но нет — интерес хозяев к Солженицыну, видно, был весьма серьезен: тут же стоял "Раковый корпус" и весь "Архипелаг ГУЛАГ". У меня мелькнула честолюбивая мысль: может, тут есть и "Глыбы" с моей статьей? Увы, "Глыб" я не обнаружил. Зато были "Бесы" Достоевского, Толстой, Тургенев, из англичан — Грем Грин, Сомерсет Моэм, Ивлин Во, Генри Джеймс, Диккенс, из французов — Кокто, Апполинер, Бернонос, Мориак.

В салоне стоял рояль, и на полу были разбросаны пластинки Баха, Моцарта, Гайдна, Шумана, Бетховена. Тут же валялась и западная запись Святослава Рихтера.

Хозяева были явно богатыми людьми. Думаю, что одна лишь

женская одежда, купленная, судя по всему, в самых дорогих магазинах, могла бы осчастливить дюжину взыскательных московских "львиц". Я решил, что здесь жили какие-нибудь иностранцы, вроде капитана Чиппендейла. Я был весьма далек от истины.

На полу, среди пластинок, валялись письма и документы. Хозяевами этой квартиры оказались арабы — Хассан Хуссейни (кстати, из одного рода с Арафатом) и его жена Культум. Господин Хуссейни был представителем банка Моргана в Ливане, и на его счетах, разбросанных тут же, числилось много, очень много денег. Отец его, видимо, был владельцем какой-то большой фирмы в Саудовской Аравии. Уже потом, выходя из дома, я подобрал у двери два входных билета в аристократический бейрутский клуб с фотографиями супругов Хуссейни. Я не удержался и взял их с собой.

Я стоял у книжных полок и думал: мог ли я представить себе, что судьба занесет меня в Бейрут и я окажусь незванным гостем в квартире богатого и просвещенного арабского банкира, который, судя по его книгам, был мне по интересам ближе, чем многие евреи?

Да простит мне Хассан Хуссейни это вторжение. Не я взломал его квартиру и не израильские солдаты. Это сделали его собственные соотечественники...

Написать, что ли, письмо хозяину, покаяться перед ним, рассказать, что его библиотека и пластинки позволили мне заглянуть в его внутренний мир и убедиться, как много общего между нами? Любим одни и те же книги, одну и ту же музыку...

А может, как мечтали когда-то Чичиков и Манилов, прорыть подземный ход через границы и ходить друг к другу в гости? И пусть — кто? — президент Ливана? — нет! — президент Израиля? — нет! — генеральный секретарь ООН узнает о нашей большой дружбе и пожалует нас в генералы! "Майский день, именины сердца..."

Так или иначе, я хочу воздать похвальное слово Хассану Хуссейни и обязательно пошлю ему эту статью, если она увидит свет.

А вдруг он ответит?

Я, однако, позволю себе заметить Хуссейни, что не питаю таких же чувств, как к нему, к двум его ближайшим соседям по дому. Один из них был явный сторонник ООП — его небольшая холостяцкая квартира была битком набита антиизраильской литературой, а в довершение всего на полу (у него тоже царил бед-



У входа в Бейрут



Супруги Хуссейни

лам) валялась такая знакомая реликвия — шапка-ушанка самой паршивой советской выделки. Не подумайте, что пыжиковая. Хозяин явно побывал на "родине мировой революции" — об этом свидетельствовал ряд учебников, изданных в СССР.

Другим соседом просвещенного Хуссейни был отъявленный маоист. Впрочем, как это часто бывает с лютыми радикалами, он был человек не только богатый, но и практичный — вывез решительно все. И был прав — в квартиру попало два снаряда, оба — со "свободолюбивой" стороны Бейрута. Впрочем, в крайней спешке маоист не добрался до двух верхних полок, где, слегка опаленные, стояли сочинения Ленина на французском языке, сочинения Мао и несметное множество антисоветских китайских брошюр.

Эта последняя ночь в Ливане была поистине самой сюрреалистической из всех. Строчили автоматы, бухали "арпиджи", ночное небо прорезали стайки трассирующих пуль, какие-то фантазеры! выписывали целые вензеля трассирующими очередями. Это осажденные террористы отмечали свое поражение. Иногда наши солдаты лениво отстреливались в воздух. Позиции террористов находились в каких-нибудь ста метрах. Чуть подальше, в районе лагеря Сабра, они соорудили большую гирлянду из лампочек, подключенных к генератору (электричество было отрезано), в форме буквы "V" — "виктори", победа. Неужели кто-то из них в самом деле еще верил в свою победу?!

А мы сидели в роте под свист пуль и грохот "арпиджи" и мирно распивали виски. Беседа уже кончилась, но увы — я так никого и не опознал из прежних моих слушателей. Впрочем, многие солдаты были на передней позиции.

Обратный путь проходил вдоль бруствера, за которым лежали наши бойцы, напряженно следя за позициями террористов. Внезапно какой-то солдат бросился ко мне и, широко улыбаясь, воскликнул, что помнит меня с первого посещения батальона. Мне некуда было спешить в этот вечер, и мы проговорили добрых два часа.

Его звали Моти Ниссан, он был из Реховота, из семьи иракских евреев. Он не кончил средней школы — в семье не было традиции учить детей, но теперь, в армии ему захотелось учиться, притом именно в той области, о которой я им рассказывал — международных отношений. Он просил меня прислать ему мои статьи из "Гаарец", а я вызвался приложить к ним учебник ан-

глийского языка. Ему оставалось служить год, и мне показалось, что этот несомненно смышленный парень добьется своего.

В разгар войны мне довелось беседовать с израильским психиатром профессором Целлермайером и услышать от него слова, которые показались мне весьма многозначительными. Эта война, сказал Целлермайер, устранила давние опасения ашкеназийских евреев в Израиле, сомневавшихся в том, что "второй Израиль", то есть выходцы из восточных общин, составляющие большинство населения страны, смогут быть надежной основой современной технологической армии. Теперь, подчеркнул Целлермайер, в этом нет никакого сомнения, и это один из главных итогов войны.

В самом деле, "Голани", состоящая более чем наполовину из восточных евреев, включая фалашей, является одной из лучших израильских частей. Когда началась война и в некрологах замелькали фамилии вроде Мордехай Свисса, Эрез Мизрахи, Масуд Федида, Давид Зилька, Шимон Дадуш, это было самым убедительным, хотя и трагическим ответом всем тем, кто проводит границу между ашкеназийскими и восточными евреями. Мы — один народ, а так называемый "левантизм", в котором порой обвиняют восточных евреев, — во многом свойство джентльменов европейского происхождения, готовых на все, чтобы добиться власти или сохранить ее.

В конце нашего разговора Моти замаялся и спросил, помню ли я того офицера, который всех перебивал во время нашей первой беседы. Уди Михаэли? Да...

Он рассказал, что 4-го августа сирийский снаряд угодил в бронетранспортер, где спал Уди. Погиб сам Уди и еще четверо его солдат. Следующий снаряд по злему року тоже попал в расположение батальона и убил еще четверых. Военным раввинам стоило большого труда рассортировать остатки людей по мешкам.

Вот имена некоторых из погибших тогда: турай (рядовой) Амос Козн из Пардес-Ханы, 19-ти лет, рав-турай (младший сержант) Дорон Левита из Беер-Шевы, 20 лет, рав-турай Ицхак Авитан из Офаким, 20 лет, турай Эли Амбар из Кирьят-Ата, 19 лет. Все они представители "второго Израиля". Почти все они были на моей беседе в конце июня. Среди них был и 19-летний рав-турай Яков Хотовили, семья которого приехала в Израиль из Грузии в 1971 году. Яков был похоронен в Ашдоде при массовом стечении грузинских евреев. В первые дни войны они хоронили на том же клад-

бище рав-самалы (старшего сержанта) 35-летнего Шота Миралашвили, прибывшего в Израиль в 1975 году. Шота пошел на войну добровольно, без всякой повестки. Он работал в Израиле на военном заводе, а в Грузии был известен как активный сионист, даже отсидел в тюрьме за то, что вступился за какого-то еврея. Он погиб нелепо — его колонна была по ошибке атакована израильским самолетом. На войне бывает и такое...

Нас кормил ротный повар Авнер, курдский еврей из Иерусалима. Суп, шакшука, чипс, жареная колбаса — все было изумительно. Мы уже поднимались, когда неподалеку грянул сильный взрыв, в небо взметнулся черный столб дыма. Через несколько минут связь передала, что взорвался арабский мерседес — видно, террористы пытались провезти взрывчатку. Так провожал меня Бейрут.

Вечером того же дня я был дома.

Вместо послесловия

Через неделю после гибели Уди Михаэли и других солдат из 18-го батальона, московская "Литературная газета" опубликовала стихи известного (и бездарного) антисемита Олега Шестинского, "посвященные" израильской армии:

Можно ль думать, что будем убийцу
мы лишь осуждать,
Осуждать и страдать за погибших детей,
матерей?
Нет, злодей! Это было бы невозможно для
нормальных людей!
О, разбойная нелюдь, о, пиратская рать!
Смерть умеешь ты сеять, срок пришел
пожинать!

Я не стал бы приводить эти стихи, если бы не трагические события в палестинских лагерях, случившиеся уже после того, как я написал эту статью.

Мне нет нужды доказывать, что израильтяне не принимали участия в этой резне. Я уверен, что результаты расследования покажут, что инициаторы ее хотели убить сразу несколько зайцев: запугать палестинцев и заставить их уйти из Ливана; дискредитировать армию Хадада; превратить победу Израиля (которая так

важна была и организаторам резни) в его поражение; вызвать политические волнения в самом Израиле.

Я вижу, что они в известной мере добились последнего. Я не принадлежу ни к одной из партий Израиля, и мое отношение к ним лучше всего выражается словами Шекспира: "Чума на оба ваши дома!" Но я с горечью думаю о том, как некоторые политики используют эту трагедию для достижения своих политических целей. С тем большей горечью, что тем самым они бросают тень на нашу армию.

Я видел эту армию вблизи и знаю, что это самая гуманная и самая демократичная в мире армия. Она вырезала раковую опухоль терроризма из тела Ливана, и рано или поздно это будет оценено всем миром. Я знаю этих солдат, я знаю их хорошо и знаю, что они абсолютно непричастны к резне в Бейруте.

Конечно, ливанская война, как и всякая война, означала потери, разрушения, жертвы, кровь. Но ни один мир никогда не был достигнут без войны — такова трагическая диалектика человеческой истории. Мир достигается силой. И если какая-нибудь Швеция или Швейцария наслаждаются длительным миром без всяких войн, то это происходит лишь потому, что они пользуются войнами других, живут за счет чужих жертв.

Ливанская война была, вероятно, самой важной войной Израиля, хотя она не была войной за выживание, как все прошлые его войны. Но это тоже была война за мир, и она в конечном счете изменила геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Поэтому любая попытка помешать Израилю добиться своих целей будет серьезным преступлением против мира.

К сожалению, не только мировое общественное мнение, но и значительная часть израильского руководства — как в оппозиции, так и в коалиции — оказались неподготовленными к тому, что показала эта война. И прежде всего — к тому, что главный подстрекатель арабо-израильского конфликта, СССР вышел из "игры", конфликт впервые стал "местным", а Израиль заявил о себе как о ведущей силе в регионе. Действительно, трудно представить, что маленький Израиль с его трехзначной инфляцией и другими трудностями является одной из сильнейших стран в сегодняшнем мире, — но это так. И я подозреваю, что нынешняя ожесточенная антиизраильская кампания на Западе — это бессознательная реакция на появление в мире еще одной сильной страны. Создается

впечатление, что израильская победа воспринимается многими как "оскорбление".

Рухнула мечта кремлевских вождей о создании на Ближнем Востоке "Пакс Советика"; оказывается неосуществимой мечта некоторых вашингтонских политиков о создании здесь "Пакс Американа". И это освобождает наш регион для создания — собственными силами — нового мирного сообщества: "Пакс Иерусалимитана". Не в виде "израильской империи", нет, а в виде арабо-израильского мирного сообщества. Это было бы воплощением старинной библейской мечты, глубоко корнящейся в еврейском сознании, — мечты об Израиле как органической части, а возможно и ядре новой ближневосточной цивилизации. Об осуществимости этой мечты говорит самый, быть может, неожиданный итог войны: открытие израильянами дружелюбного арабского мира — христиан, друзов, шиитов, суннитов, уставших от насилия и войн.

Те, кто во время войны ратовал за всяческое ее ограничение, может быть руководились весьма благородными мотивами. Но на деле они боялись победы, боялись мира. Они предпочли бы — бессознательно, — чтобы Израиль остался маленькой, уязвимой страной, живущей в постоянном напряжении. Они попросту не верят в возможность мира с арабами. Они не сознают новой геополитической ситуации.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

**ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ
АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ. КОНТУРЫ ТАЛМУДА**

"Контурсы Талмуда" — не только первая на русском языке популярная книга, рассказывающая о возникновении, содержании и особенностях Талмуда — этого стенового хребта всей еврейской культуры. Личность автора, крупнейшего израильского религиозного философа-экзистенциалиста, наложила на эту книгу неповторимый отпечаток, превратив ее в рассказ об особенностях еврейского отношения к человеку и к миру, обусловивших исключительность еврейской судьбы.

Цена книги — по заказу — 6 долларов (за рубежом — 12 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: ЕВРЕИ И АРАБЫ

По дороге на Рамаллу, вблизи аэродрома Атарот, глаз натывается на темно-желтого цвета плакат, извещающий о том, что отсюда начинаются земли, подчиненные юрисдикции окружного муниципалитета Мате Биньямин. Муниципалитет размещается в нескольких сборных домиках на склоне холма, поднимающегося над городком Эль-Бире. Отсюда группа энергичных молодых людей, членов Гуш Эмуним, управляет всеми делами своего округа, занимающего, в общих чертах, ту же территорию, на которой некогда располагалось библейское "колени Биньямина".

Границы еврейского округа Мате Биньямин практически совпадают с границами арабского округа Рамалла. На одних и тех же землях существуют два муниципалитета — еврейский и арабский. Один занимается вопросами планирования, развития и жизни еврейских поселений и поселенцев, другой — тем же самым в отношении живущих на тех же землях арабов.

Такова новая реальность, которую проглядели в Вашингтоне. Сосредоточившись на проблеме *новых* поселений, там не заметили более радикальных и принципиальных изменений, происходящих на Западном берегу — возникновения крупных еврейских городских центров,

Давид Ричардсон

КАРТА
МИРОНА БЕНВЕНИСТИ

связывающих жизненно важные области территорий с главными городами Израиля.

Президенту Рейгану, а может, и арабским лидерам в Фесе следовало бы внимательней присмотреться к сегодняшней карте территорий, судьбу которых они обсуждают издалека.

Одну такую карту я видел на стене просторной студии Мирона Бенвенисти в квартале Абу-Тор в Иерусалиме. Она покрывает всю стену, от пола до потолка. Расползающаяся по карте сыпь красных и розовых точек показывает уже существующие и планируемые еврейские поселения. Черные завитки обозначают земли, уже взятые или намеченные для взятия под израильский контроль. В некоторых местах эти завитки вплотную примыкают друг к другу, образуя сплошную территорию. Вокруг нового еврейского города Ариэль с его трехтысячным населением эта сплошная "еврейская территория" занимает такую же площадь, что и весь арабский Наблус с его девяноста тысячами жителей.

"Эта карта демонстрирует план будущей Эрец-Исраэль по замыслу Бегина, — говорит составивший ее доктор Мирон Бенвенисти, бывший заместитель мэра Иерусалима и соратник Шуламита Алони по "Движению за гражданские права". — В сущности, это план создания двойного общества. Он предусматривает существование на одной и той же территории еврейских районов, где еврейские поселенцы будут жить по израильским обычаям, законам и нормам — выбирать в парламент, пользоваться свободой слова и т. п., — и арабских районов, где будут действовать постановления военной (или, если угодно, гражданской) администрации, а впоследствии — в определенных, весьма ограниченных сферах жизни — палестинского совета самоуправления".

Разработка этого плана, по мнению Бенвенисти, была завершена в 1981 году в ходе поиска ответа на проблемы, вставшие перед Израилем на пути реализации бегинской схемы автономии. Осуществление этого плана, по его мнению, практически равносильно одностороннему введению "автономии по Бегину". Оно не требует даже принятия какой-либо формальной декларации о распространении израильских законов на территории. "Бегин, — говорит Бенвенисти, — возможно и захочет провозгласить такую декларацию, но в действительности в этом нет никакой нужды, а израильским представителям на местах она даже помешает".

Бенвенисти заканчивает обобщающее исследование под названием "Сводка базовых данных по Западному берегу", кото-

рое, по его замыслу, должно служить основой любых будущих дискуссий о судьбе территории. Почти все эти данные он взял из уже опубликованных источников. Его новшество состояло в том, что он свел прежде разрозненные сведения на одну общую карту. Изучение ее показывает, как далеки от реальности все предложения президента Рейгана, равно как и маневры арабских лидеров, подумывающих о признании Израиля в обмен за сохранение Западного берега для палестинцев. Возникновение на Западном берегу двойного и неразделимого арабо-еврейского общества делает все менее возможной реализацию любых подобных вариантов решения палестинской проблемы.

В основе израильского плана, по утверждению Бенвенисти, лежат два приказа военной администрации. Приказ № 783 провозгласил создание еврейских округов на территориях и определил их границы. Приказом № 947 была создана гражданская администрация для управления арабскими округами. Оба приказа были опубликованы только на иврите.

Еврейские окружные муниципалитеты: Шомрон и Мате Биньямин в Шомроне, Гуш Эцион, Хар Хеврон и Мегилот в Иудее — в совокупности охватывают весь Западный берег. Одновременно сохраняется установленное еще во времена британского мандата деление той же территории на арабские районы, границы которых почти совпадают с еврейскими. Таким образом, один и тот же округ является "израильским", когда речь идет о его еврейских поселениях, и арабским, — когда речь идет об арабах.

В самых крупных еврейских поселениях, которые должны в будущем стать израильскими городами на территориях (Маале Адумим к востоку от Иерусалима, Ариэль между Иерусалимом и Тель-Авивом, Кирьят-Арба, которая по размерам равна соседнему Хеврону, Маале Эфраим к северо-западу от Иерусалима, Эфрат к юго-западу от него на пути к Гуш Эцион), созданы также городские муниципалитеты. Большинство окружных и городских муниципалитетов имеют схемы, на которых обозначены границы их юрисдикции и планы развития. Именно эти схемы Бенвенисти использовал для составления своей генеральной карты, которая, как уже сказано, демонстрирует бессмысленность разговоров о каком-либо "территориальном компромиссе", предусматривающем выделение "чисто арабской" территории. Такой единой и связной территории, по его утверждению, сегодня больше не существует.

Планы еврейского заселения Западного берега опираются на

детальное исследование землевладения на территориях, проведенное военной администрацией и Министерством юстиции Израиля. Согласно параграфу о "государственных землях", имеющемуся в иорданском законе о земле, который действует на территориях, все необрабатываемые земли, не имеющие законного, точно установленного владельца, могут быть отчуждены в государственное (теперь — израильское) владение. По оценке Бенвенисти, такие земли составляют сегодня более половины всей площади Западного берега (за вычетом Восточного Иерусалима), то есть почти 3 миллиона дунамов (1 дунам — 1000 квадратных метров).

Именно на этих землях предполагается в конце пятилетнего переходного периода "автономии" ввести (если понадобится — то и формально) израильские законы.

В особенно важных районах — например, в окрестностях Иерусалима или на холмах к востоку от Тель-Авива — планировщики разработали детальные "зонные схемы" развития, ныне утвержденные военным приказом (тоже опубликованным лишь на иврите). В районе Иерусалима эти "зоны" тянутся от Бейт-Эля на севере до Текоа на юге и от западных предместий города до Маале Адумим на востоке от него. Территория, отведенная здесь для арабского строительства, имеет четко установленные границы. Уже наметившаяся тенденция роста арабского Иерусалима вынуждена будет приспосабливаться к этим ограничениям. Восточные склоны холмов за Рамаллой, обращенные к Иордании, и большие участки к юго-западу от Бейт-Лехем и Бейт-Джалла также отведены для будущих еврейских поселений. Остающиеся между еврейскими и арабскими "зонами" земли предназначены под сельскохозяйственные или парковые угодья.

Первоначально новый план объясняли как чистую формальность, которая призвана всего лишь привести карту Западного берега в соответствие с реальностью, сложившейся в результате стихийной застройки последних десятилетий. По мнению Бенвенисти, подлинное значение плана выходит за эти бюрократические рамки. "Арабским городам и деревням, — говорит Бенвенисти, — суждено оказаться в окружении еврейских поселений, пригородов и военных лагерей, которые будут связаны воедино скоростными автомагистралями".

Главное в этом плане, утверждает Бенвенисти, — не количество, а новый характер нынешних еврейских поселений. В прошлом, во времена правления Рабочей партии, господствующая социалистиче-

ская идеология диктовала создание на территориях (как и в самом Израиле) поселений типа кибуцов и мошавов, которые были аграрными хозяйствами и нуждались в больших земельных угодьях. Сейчас, при Ликуде, упор делается на поселения городского типа — своего рода “загородные общежития” для переполненных Иерусалима и Тель-Авива.

Такие поселения не нуждаются в пригодной для сельского хозяйства земле — бульдозеры и динамит могут в короткое время расчистить самую каменистую почву под большой строительный проект, вроде тех, которые уже сегодня осуществляются на Западном берегу, быстро меняя его облик.

По оценкам Бенвенисти, на реализацию этих проектов ассигновано сейчас около 100 миллионов долларов (в то время, как суммарный бюджет военной и гражданской администраций, ведающих делами арабов, составляет всего 14.5 миллионов) .

Некоторые пренебрежительно относятся к этим проектам, полагая, что в Израиле не найдется достаточного количества людей, готовых поселиться в “общежитиях” на Западном берегу. Но жилищный аукцион, недавно состоявшийся в Иерусалиме, доказал обратное. На аукцион пришли сотни молодых еврейских пар, привлеченные крайне выгодными условиями, на которых строительные компании предлагали там жилье самого высокого качества в Эфрате, Маале Адумим, Гиват Зеев, Маале Эфраим, Элькане и других поселениях.

Подрядчики могут позволить себе предлагать жилье по ценам, значительно ниже общеизраильских, по той простой причине, что правительство бесплатно обеспечивает им всю инфраструктуру и основные службы. В результате цены на жилье на территориях составляют от трети до половины фактических.

Покупка домика-мечты на холмах Иудеи или Шомрона стала сегодня выгодным капиталовложением. Компании предоставляют поселенцам долгосрочные займы на 80 процентов стоимости жилья. Некоторые займы даются безвозвратно — их нужно отдавать только в том случае, если покидаешь поселение. Одна из компаний предлагает контракт на покупку жилья, в котором не предусмотрен даже вступительный взнос.

Сегодня можно быть пионером-поселенцем без всякого риска. Планировщики поняли, что мало кто из нынешних израильтян согласится жить в удаленных, заброшенных и изолированных поселках в “арабской глуши”. Концентрируя поселения в виде

больших "городских" массивов, они избавляют их жителей от этих психологических и житейских неудобств. Одновременно они предотвращают этим возможное восстановление арабского контроля над еще неиспользуемыми земельными ресурсами территорий, охватывая их сетью еврейских поселений и дорог.

При нынешней скорости строительства уже возможно завершать до 3000 квартир в год. Это означает ежегодное увеличение еврейского населения на Западном берегу на 12—15 тысяч человек. Учитывая, что уже сегодня там живет около 25 тысяч, можно предсказать, что к 1986 году на территориях будет насчитываться 100.000 новых израильтян.

Бенвенисти считает, что эти люди создадут мощное политическое лобби, с которым вынуждена будет считаться любая серьезная партия в Израиле. 100 тысяч избирателей способны связать руки любой партии, которая попытается говорить о территориальном компромиссе и уходе из поселений.

Хотя 100 тысяч евреев — это много меньше, чем 700 тысяч арабов, которые сейчас живут на Западном берегу, Бенвенисти утверждает, что в перспективе этот разрыв сглаживается. Судя по его данным, еврейское население Израиля растет быстрее, чем арабское население Западного берега. Ежегодный прирост в Израиле составляет сейчас 2,3 процента, среди израильских арабов — 3,9 процентов, но арабское население Западного берега растет всего на 1,4 процента в год. Этот низкий рост он объясняет большой эмиграцией: за истекшие четырнадцать лет Западный берег покинули около 100.000 арабов. Меньше всего арабский прирост в Шомроне; он выше в Иудее и особенно высок (3 процента) в Восточном Иерусалиме.

Трудность территориального компромисса обусловлена, по мнению Бенвенисти, также экономическими тенденциями на территориях. "Экономика Западного берега, — говорит Бенвенисти, — является несамостоятельной и нежизнеспособной, потому что она зависит от экономики Израиля и Иордании".

Западный берег стал за последние годы самым крупным единичным рынком израильских промышленных товаров. 25 процентов израильского экспорта продается сегодня через Западный берег. Собственная промышленность на территориях не развивается из-за отсутствия капиталовложений и защиты от израильского импорта. Она скована также ограничениями на экспорт в Иорданию и на ввоз сырья и оборудования. В результате лишь

13 процентов всех доходов Западного берега возвращается в его экономику в виде капиталовложений — в основном, на приусадебное и другое мелкое строительство. Уровень промышленных капиталовложений ничтожен. Израильские банки, монополизировавшие все банковские операции на территориях, из года в год сокращают размер кредитов, а специальный правительственный кредитный фонд, существовавший до недавнего времени, ликвидирован.

Сращивание арабского и еврейского обществ проявляется также в изменении структуры рабочей силы на территориях. С 1969 по 1980 год доля жителей Западного берега, занятых в сельском хозяйстве, упала с 46 процентов до 26 процентов, зато доля занятых в строительстве — преимущественно израильском — возросла с 11 процентов до 22 процентов. Сейчас уже половина всей рабочей силы территорий работает в израильской экономике: 60 тысяч человек в самом Израиле и 15 тысяч — на территориях, в строительстве поселений и дорог. Треть из них работают в Израиле свыше десяти лет подряд, то есть стали по существу постоянными израильскими рабочими. Работа в Израиле обеспечивает им высокие зарплаты, социальное страхование и другие выгоды, отсутствующие в арабском секторе.

Территориальное и экономическое сращение дополняется разработкой особой административно-юридической структуры. В первые годы поселенчества возникало множество "аномалий", связанных с тем, что непонятно было, какие законы следует применять к поселенцам, живущим как бы "за границей" своего государства. Сейчас нащупана схема "сглаживания аномалий". В израильские законы внесены такие поправки, которые позволяют распространить их на людей, живущих "вне" границ Израиля. Аналогичный принцип: распространение законов на людей, а не на территории — намереваются применить и к арабам после получения ими автономии. Такова израильская трактовка Кемп-Дэвидских соглашений, выраженная в формуле: "автономия людям, а не территориям".

Сегодня жители территорий управляются двумя различными администрациями. Жизнь еврейских поселенцев руководят их муниципалитеты и поселенческие движения, жизнь арабов — гражданская администрация. Эта последняя обходится уже даже без арабских мэров. Структура и функции ее разработаны настолько детально, что даже если арабы откажутся от автономии,

это практически ничего не изменит. Гражданская администрация может постепенно заменить всех своих офицеров готовыми сотрудничать арабами (если она их найдет), и вся система будет функционировать по-прежнему.

Чем дальше заходит осуществление нынешнего плана, — говорит Бенвенисти, — тем труднее становится и дороже обойдется последующее размежевание евреев и арабов на Западном берегу. В пределе оно окажется возможным лишь ценой тяжелых травм или даже катастрофы.

“Когда президент Рейган говорит о “замораживании поселений”, — заключает Бенвенисти, — он обнаруживает устаревший подход. Дело не в нескольких новых точках на карте, а в растущем сдвиге израильского городского населения в районы, обладание которыми гарантирует Израилю контроль над всем Западным берегом и создает практически непреодолимые политические препятствия на пути любой израильской партии, ориентированной на территориальные уступки”.

Михаил Вартбург

НА ХОЛМАХ ШОМРОНА

Лучше один раз увидеть...

К востоку от Петах-Тиквы, “зеленая черта”, разделяющая Израиль и “территории”, проходит совсем близко к побережью. За арабским городком Кфар-Касем сразу открывается широкий вид на серые холмы Шомрона и ближайшее поселение на них — Элькану, основанную несколько лет назад активистами движения Гуш Эмуним. Когда-то “пионерская”, Элькана выглядит сегодня как обычный поселок где-нибудь в израильской “глубинке”, разве что окруженный колючей проволокой — для безопасности. Рядом, на соседнем холме, идет энергичное строительство Эльканы “далет” и “гимел”. Что касается Эльканы “бет”, то она существует уже давно — это несколько рядов стандартных сборных домиков чуть ниже главного поселка. Года два назад здесь поселилась группа выход-

цев из России. Часть из них осела в Элькане, другие ушли дальше на восток, в Баркан.

Дорога на Баркан идет среди безлюдных холмов, мимо редких оливковых рощ. Изредка мелькает вдали торчащий к небу палец минарета — арабская деревня. Вокруг ни души, вся жизнь, кажется, сосредоточилась на шоссе: на запад и восток торопятся по своим делам еврейские и арабские машины, грузовики, автобусы.

На восьмом километре от Эльканы от шоссе сворачивает короткий отросток, поднимающийся на барканский холм. Главная дорога — “дерех Хаим” (названная в честь соратника Бегина по подполью, покойного Хаима Ландау) уходит дальше на восток, к Ариэлю и Маале Эфраим.

Дерех Хаим — одна из главных жизненных артерий Шомрона (любопытно, что ее название можно перевести и как “дорога жизни”). Параллельно ей, чуть северней, проходит еще одна дорога с запада на восток — через Калькилию на Шхем; южнее — главная магистраль Тель-Авив—Иерусалим. Перпендикулярно этим осевым магистралям построены или строятся несколько рокадных дорог, идущих с юга на север.

“В сущности, это реализация плана Алона”, — говорит Давид, один из пионеров Баркана. Мы беседуем в его доме на вершине барканского холма, откуда открывается вид на все израильское побережье, от Ашдода до Нетании. Гряда холмов, на которой расположен Баркан, фактически контролирует эту прибрежную полосу. Какие бы споры ни шли о будущем “территорий”, все согласны, что эту гряду Израиль должен удержать — отсюда можно обстреливать побережье прямой наводкой.

План Алона, о котором упомянул Давид, в своей попытке решения проблемы “территорий” тоже предусматривает сохранение за Израилем этой гряды, а также района Иерусалима и долины Иордана. Остальную, “отдаваемую” часть “территорий” план предусматривал покрыть сетью стратегических дорог, в узлах которой должны были расположиться израильские поселения.

Баркан — одно из таких поселений, и здесь отчетливо видишь, насколько обманчивы газетные фотографии, изображающие поселения как крохотную группку домов, затерянных среди пустынных холмов, под палящим солнцем. Баркан — не пионерский форпост в пустыне, а уж скорее дачный поселок. Дома стоят свободно, каждый на своем “приусадебном” участке (площадью около дунана), и на многих участках уже чернеет привезенная издали зем-

ля — здесь будет зеленеть трава и шуметь деревья, как сегодня в Элькане. Многие дома — в строительных лесах: поселенцы перестраивают их в нарядные двухэтажные виллы и особняки по вкусу. На краю холма ярко синее зеркало открытого бассейна. Вокруг тишина и покой.

Официальный статус Баркана — “ишув кегилати”, то есть общинное поселение, управляемое советом самих поселенцев. Административно он подчиняется окружному (еврейскому) муниципалитету Шомрона, находящемуся дальше к северу, в Кдумим. Такие поселения рассчитаны на двести семей, но некоторые уже добиваются разрешения принять лишнюю сотню-другую.

Кроме таких “ишувов”, в Шомроне можно увидеть и поселки городского типа, как Элькана, и будущие города, вроде Ариэля, планируемого на 25 тысяч жителей (сейчас их там около полутора тысяч). Ариэль уже сегодня выглядит как симпатичный маленький городок, охваченный строительной лихорадкой. Едва намеченные улицы то и дело упираются в тупики, где еще идет строительство — там растет квартал коттеджей, тут — квартал вилл. В центре возвышается здание школы, на окраине — коробки производственных и деловых корпусов, где уже разместились филиалы некоторых израильских предприятий и фирм. Кстати, площадки под такие корпуса расчищаются и около Баркана, и во многих других местах. Министерство науки планирует создание в Шомроне крупного научного центра, а в некоторых поселениях сами поселенцы создают свои фирмы и предприятия: в Баркане, например, есть архитектурная контора и фирма по программированию.

Будущий центр Иудеи Эфрат тоже планируется как город. Сейчас это два-три квартала двухэтажных домов, построенных “Компанией развития Иудейских гор” — кооперативом поселенцев соседнего Гуш Эцион. В Эфрате на равных будут жить религиозные и нерелигиозные евреи, и он задуман как город высокого комфорта: строители предлагают на выбор восемь различных типов и различной цены домов, облицованных белым иерусалимским камнем, с синтетической изоляцией на случай холода и дождя.

Чисто религиозным городом намерен быть Иммануэль, строящийся в безлюдных холмах к северу от Ариэля. Он задуман как “филиал” старинного религиозного района Тель-Авива—Бней-Брака, где многодетные религиозные семьи испытывают острую нужду в жилье. В Иммануэле будет своя “изюминка” —

отсутствие частного транспорта: по городу пойдут бесшумные электрокары, которые будут бесплатно перевозить жителей и по требованию останавливаться у любого дома. Уже сейчас Иммануэль впечатляет размахом строительства: за какой-нибудь год на холме выросли десятки кварталов, а бульдозеры расчищают все новые и новые площадки. Здесь собираются жить десять тысяч молодых религиозных семей.

Но все эти города с десятками тысяч жителей — дело будущего. Пока что еврейские поселения не так уж изменили облик Шомрона. Считается, что общее число поселений на “территориях” превышает сотню, но основная их масса сосредоточена в окрестностях Иерусалима, в долине Иордана и в блоке Гуш Эцион, так что на долю собственно Иудеи и Шомрона остается каких-нибудь несколько десятков. На просторах Шомрона это почти незаметно. Между поселениями и арабскими деревнями, как и между самими деревнями, тянутся километры безжизненных холмов, усеянных миллионами валунов и скал, издали похожими на овечьи стада. Видно, что земля эта непригодна для обработки. Арабские поля и рощи теснятся к деревням. Лишь изредка встречается обработанный участок на склоне холма — как правило, он расположен на древней террасе, отвоєванной у камней столетия назад. Холмы покрыты скудной растительностью, пригодной разве что для неприхотливых овец, — чувствуется, как мало в здешних местах воды. На карте Шомрон невелик, на местности он кажется бескрайним и редко заселенным, почти безлюдным.

“Это верное впечатление, — подтверждает Давид. — Здешние деревни невелики, по 30–50 домов, потому что земля тут, в основном, мало подходит для сельского хозяйства, поля невелики и кормят плохо. В израильской Галилее, где земля куда лучше, арабские села соответственно больше — по 2–3 тысячи семей. Там свободных площадей почти нет, и новые еврейские поселения, вроде Таль-Эля, приходится изначально ограничивать в размерах. В Шомроне таких ограничений нет — места хватает”.

Поселения в Шомроне тоже пока еще невелики и разбросаны редко — восемь, десять, а то и больше километров друг от друга. Но по сравнению с прежней их затерянностью на здешних просторах нынешние расстояния кажутся поселенцам крохотными. “Построили каких-нибудь два десятка поселений, — говорит Давид, — и вдруг оказалось, что от одного до другого рукой подать: от Баркана до Ариэля пятнадцать минут езды, до Эльканы —

десять. Школьный автобус по утрам объезжает все окрестные поселения, чтобы забрать детей в школу в Ариэле, к нам по субботам приезжают соседи в бассейн — совсем, как в Израиле”.

Близость поселений друг к другу и к израильским центрам (туда по утрам ездят на работу, а вечерами — погулять или в гости) создает новое ощущение “обычности” здешней жизни. К этому добавляется несомненное ее удобство: сельская тишина, чистый воздух, возможность приобрести собственный участок, построить (на треть дешевле, чем в Израиле) собственный дом. Эти психологические сдвиги побуждают тысячи израильтян, никогда не помышлявших о “пионерстве”, все серьезней задумываться над возможностью поселиться в Шомроне.

“Каждую субботу — паломничество, — свидетельствует Давид. — У тех родственники, у этих друзья или знакомые, третьи приезжают просто так — посмотреть, прицениться, взвесить”.

Перелом стал ощущаться после того, как государство два года назад разрешило скупку и продажу земли на “территориях” в частном порядке. До этого сколачиванием здесь израильского земельного фонда занималась только израильская администрация, отчуждавшая в собственность государства свободные, “ничейные” земли. Такое отчуждение стало возможно, когда несколько лет назад закончился многолетний процесс аэрофотосъемки шомронских земель и обследования документов на землевание и появилась возможность доказать, что тот или иной участок не обрабатывается в течение длительного срока (закон требует, чтобы этот срок был не меньше десяти лет).

“Поначалу арабы прибегали к невинным хитростям, — рассказывает Давид. — На спорном участке за одну ночь появлялись пальмы или оливковые деревья. Когда поднимали верхний слой земли, оказывалось, что они привезены прямо в бочках, издалека. Но, в общем-то, уже сложилась стандартная процедура: крестьяне подают жалобу в Высший суд справедливости Израиля, и дело решается там. Они подают в суд даже тогда, когда заведомо знают, что у них нет никаких прав на участок, — через Иорданию к ним поступают саудовские деньги на адвокатов и судебные издержки, а в Иерусалиме их обслуживает контора Фелиции Лангер”.

Лангер — известная “защитница” большинства палестинских террористов — сделала, видимо, немалые деньги на “защите” интересов арабских крестьян по земельным искам. Говорят, что на нее работает около сотни адвокатов и что она ворочает мил-

лионами. Крестьян толкают на заведомо проигранные процессы, скорее всего, ради оттяжки дела и подогревания страстей. Впрочем, когда суд признает арабские права, земля остается за крестьянами — так было, например, с одним из первых поселений Гуш Эмуним, нашумевшим Элон-Море: арабы доказали свои права, и поселение, невзирая на шумные протесты гушэмунимовцев, перенесли в другое место.

“Сейчас процесс отчуждения “ничейных” земель подходит к концу, — говорит Давид. — Его сменяет новый процесс, который только начинает разворачиваться, так что все его последствия еще трудно предугадать. Крестьяне стали сами продавать землю — или всю, или излишки, которые они не могут обработать. Тысячи крестьян переходят из сельского хозяйства в израильскую промышленность или на строительство, где больше платят и дают социальные льготы. А других привлекает высокая цена на землю”.

Возникновение сети дорог и привязанной к ним инфраструктуры повысило цены на участки, расположенные вдоль дорог и вблизи поселений. Сегодня на частном рынке дунам стоит от пяти до шести тысяч долларов, еще столько же стоит подводка инфраструктуры к нему — от дороги или от поселения. Для многих израильтян это все еще доступная цена, и спрос на участки очень высок. Конечно, частные компании, покупающие землю у арабов, неплохо зарабатывают на перепродаже, но и крестьянам остается внушительная сумма.

“Иорданские власти, — продолжает Давид, — угрожают смертной казнью тем крестьянам, которые продают евреям землю на “территориях”. Поэтому продажа идет обходным путем. Возник целый слой деревенских перекупщиков, которые ради заработка рискуют, покупают землю у крестьян на свое имя, а потом перепродают частным израильским компаниям. Если опасность становится уж очень велика, они бегут с “территорий”. Компании, в свою очередь, предлагают землю всем желающим в Израиле”.

Желающих, как уже сказано, много, и частные компании растут, как грибы. На склоне барканского холма я видел огромный плакат одной такой компании, предлагающей участки под строительство “Баркана-два”. “Вчера еще этого плаката не было, — удивленно сказал Давид. — Видно, арабы продали каким-то частникам изрядный кусок земли рядом с Барканом...”

Частные и кооперативные (как в Эфрате и Иммануэле) компании не только скупают и перепродают землю. Во многих местах

они также ведут строительство индивидуальных домов и целых поселков на продаваемых участках. В районе Модиин, по эту сторону "зеленой черты", неподалеку от Лода, частники и кооперативы развернулись так широко, что государство полностью передало им здесь дело заселения и строительства.

Хлынувшая в результате на "территории" масса индивидуальных покупателей земли начинает менять характер поселенчества в целом. Несколько лет назад, чтобы создать ядро будущего поселения, получить участок и начать строиться, необходимо было — хотя бы формально — вступить в одно из двух существовавших тогда поселенческих движений — религиозный Гуш Эмуним или херутовский Бейтар, даже если и не разделял их идеологические лозунги. Сегодня стать поселенцем можно "индивидуально" — как в том же "Баркане-два". Конечно, и тут складываются группы, которые проходят проверку и отбор, но поселенчество все более начинает походить на американское освоение Дикого Запада, чем на организованный процесс. Гуш Эмуним и Бейтар отошли на второй план, сохраняя свое влияние, в основном, среди "старожилов", в координационном совете всех поселений Иудеи и Шомрона. Новые поселенцы, быть может, не меньше руководствуются идейными мотивами: соображениями безопасности Израиля, сохранения за ним "территорий" — но на первом плане у них чаще обычное и понятное желание приобрести дешевое жилье, недорогой собственный участок, построить виллу по вкусу, иметь загородный дом.

Новые процессы меняют и арабское лицо "территорий". Сельское хозяйство в этих местах (за исключением, разве что, плодородной долины Иордана и некоторых других районов) перестает играть традиционную ведущую роль; уходит в прошлое и традиционное крестьянское отношение к земле, как к самому дорогому — сегодня почти каждый второй взрослый житель деревни, по оценке Давида, так или иначе связан с израильской экономикой, а стало быть — с израильтянами. Еще вчера поселения и деревни жили своей обособленной жизнью, как бы не замечая друг друга. Сегодня положение начинает меняться. "Мы ходим к арабам в деревни покупать продукты, посидеть в кафе, поговорить, — говорит Давид. — Они ходят к нам строить дороги и дома. В Баркане почти все дома перестраивают арабы. Устанавливаются нормальные добрососедские отношения, основанные на взаимной выгоде".

Какую выгоду получают от этого арабы? Давид утверждает:

“В израильском секторе они зарабатывают куда больше, чем давал им их скудный клочок земли. Эти деньги идут на постройку новых домов, на образование для детей, на покупку вещей в домашнее хозяйство — телевизоров, холодильников, стиральных машин. Сегодня в каждой арабской деревне можно увидеть десятки строящихся домов и вилл. Выходит, такой “добытчик” зарабатывает не только для себя и своей семьи — он еще дает работу и заработок своим односельчанам: строителям, владельцам магазинов, учителям”. Прокладка дорог дала крестьянам еще одну бесспорную выгоду: их деревни получили пути сообщения, электричество, воду — все, чего в них не было раньше.

Сближение арабов и евреев на “территориях” разрушает незримые барьеры. Поселения перестают быть изолированными еврейскими “гетто” в арабском “море”. Деревни, прежде тоже изолированные, получают широкую связь с внешним миром.

“Прокладка дорог и строительство поселений связали евреев и арабов, — говорит Давид. — И в то же время никто никому не мешает, никто никого не теснит, не препятствует жить собственной жизнью. Я бы сказал, что здесь устанавливаются основы нормального сосуществования двух народов на одной земле — того самого арабо-еврейского сосуществования, о котором когда-то писал Жаботинский в брошюре “Еврейское государство”...”

* * *

Реальность Шомрона может побудить усомниться в правильности некоторых толкований, изложенных в интервью Давида Ричардсона с Мироном Бенвенисти. Возможно, размах строительства в окрестностях Иерусалима может внушить ощущение “необратимости” происходящего, но на просторах Шомрона еще вполне достаточно места и для арабов, и для евреев, израильские поселения никого не “окружают” и не превращают арабские деревни в “гетто”. Складывается впечатление, что Ричардсон и Бенвенисти несколько сгустили краски, изобразив нежелаемое как уже совершившееся.

Любопытно, что шомронские поселенцы, скорее, склонны к другой крайности: большинство утверждает, что желаемое еще весьма далеко от осуществления, уже созданное — далеко недостаточно.

Действительно, ни 25 тысяч поселенцев, уже живущих сегодня в Иудее и Шомроне, ни 100 тысяч, которые должны здесь жить,

по наметкам, через несколько лет, не могут ни существенно изменить демографические соотношения на "территориях", ни оказать существенное влияние на израильские политические партии, поскольку из этих ста тысяч всего лишь треть (за вычетом детей) будут избирателями. Поэтому у поселенцев есть основания напоминать, что в Ямите и прилежавшем к нему районе Питхат-Рафиях было не меньше поселений, чем сегодня в Шомроне, что не помешало отдать Ямит египтянам.

Строить в Шомроне и Иудее трудно. Здешние каменистые холмы и вековые скалы требуют огромных затрат механизированного труда для расчистки площадок под новые поселения. Только сочетание политической заинтересованности государства с энтузиазмом и жертвенностью первых поселенцев позволили создать то, что уже создано, — дальнейшие шаги будут наверняка куда более медленными и ограничатся, в основном, развитием уже существующих поселений. Для массового строительства новых населенных центров у государства нет ни средств, ни энтузиастов. Поэтому самым перспективным представляется начавшийся сейчас процесс приобретения и заселения земель с помощью частной инициативы, — если, разумеется, он будет поддержан достаточно высокой иммиграцией.

Этот процесс тем более привлекателен, что он не требует отчуждения дополнительных арабских земель, а основан на добровольной продаже своей земли крестьянами. Кстати, следует заметить, что такая добровольная продажа опровергает распространенное мнение, будто израильская администрация лишает арабских крестьян их единственного источника существования — земли. Это неверно даже в отношении земель, изъятых государством, о которых упоминается в исследовании Бенвенисти, поскольку отчуждаются "ничейные" земли, отсутствие у которых законного владельца устанавливается судом после тщательной проверки. Сам акт отчуждения базируется, как это правильно отметил Бенвенисти, не на израильском, а на иорданском законе, предусматривающем, что необрабатываемые земли после определенного срока переходят в собственность государства. Но еще более очевидна несправедливость утверждения об "изъятии" земли в отношении участков, продаваемых арабскими крестьянами израильским частным компаниям. Размах этого явления (а можно думать, что если бы не иорданские угрозы, этот размах был

бы еще больше) исключает всякие подозрения в его "принудительности".

К сожалению, и Ричардсон с Бенвенисти не избежали этого упрощенного толкования, способного исказить реальную картину. Не избежали они и разговоров о том, что *намеренное* создание поселений нового типа ("общежитий") с протянутой между ними сетью дорог направлено, якобы, на "удушение" между ними арабских городов и деревень. Переход к строительству "общежитий" (вместо сельскохозяйственных поселений) был *продиктован* особенностями местоположения новых поселений. На каменистых холмах Иудеи и Шомрона невозможно развернуть кибуцы и мошавы, как в долине Иордана, где строила поселения Рабочая партия. Это видно даже из того, как мало земель обрабатывают здесь арабские крестьяне. Что же касается дорог, то они не разобщают, а, скорее, связывают арабские населенные пункты друг с другом, с поселениями, Израилем и Иорданией.

Искажения в частностях могут привести к существенному искажению общего вывода. Кажется, именно это и произошло в статье Ричардсона—Бенвенисти, когда они утверждают, что подмеченный ими процесс "сращивания" еврейского и арабского обществ на "территориях" ведет к губительным результатам. Прежде всего, следует заметить, что до "сращивания" на "территориях" еще очень далеко, и говорить можно, разве что, лишь о сосуществовании и возникновении первых деловых связей между двумя обществами. Что же касается его оценки, то Бенвенисти и Ричардсон подтверждают ее лишь тем, что этот процесс затрудняет, а в перспективе — исключает так называемый "территориальный компромисс", то есть возвращение "территорий" ООП или Иордании.

С такой аргументацией трудно согласиться. То, что происходит на "территориях", не является простым и однозначным. В Шомроне воочию можно увидеть и благотельные результаты "сращивания" для основной массы его арабского населения — крестьян: появление дорог, электричества, воды, заработков, благосостояния. О том же говорят и статистические данные. С 1968 по 1980 год такой показатель благосостояния, как производство на душу населения, вырос на "территориях" с 170 долларов на душу населения до 1134 долларов, число учащихся в школе увеличилось с 61 процента до 89 процентов, количество врачей на каждые десять тысяч жителей достигло шести (тогда как в Иордании оно чуть

больше четырех, а в Алжире меньше двух). В статье Ричардсона—Бенвенисти упоминаются суммы, выделенные на "еврейское" и "арабское" развитие на "территориях" — сто миллионов и сорок четыре с половиной миллионов долларов, соответственно. Эти цифры поражают своей непропорциональностью, особенно если учесть различие в населении. Но и здесь следует заметить, что половина средств, выделяемых на "еврейское" развитие, идет на строительство дорог и инфраструктуры, которые становятся общим достоянием не только еврейского, но и арабского сектора. В то же время цифра 14,5 миллионов для арабского сектора не учитывает, что это лишь средства, выделяемые израильской администрацией, к которым необходимо добавить вдвое большую сумму, поступающую от арабских муниципальных налогов. Трудно учесть также те сотни миллионов долларов, которые поступали в арабский сектор через Иорданию от ООП и Саудовской Аравии. Можно думать, что если бы эти средства не расходовались в значительной своей части на подкуп и запугивание населения, состояние арабской экономики на "территориях" было бы сегодня не таким плачевным, как оно вырисовывается из данных Бенвенисти.

Однако и эти данные нуждаются в определенных коррективах. Реально происходящее экономическое и финансовое "сращивание" израильского хозяйства с хозяйством Иудеи и Шомрона ведет, в целом, хотя и к медленному, но ощутимому росту экономики последних. И "зависимость", которую упоминает Бенвенисти, является не односторонней, а двусторонней: Иудея и Шомрон зависят от израильского предложения товаров и труда, но и Израиль все более зависит от рынка сбыта товаров и рынка рабочей силы, какими являются для него Иудея и Шомрон.

Я говорю все это, чтобы подчеркнуть противоречивость и неоднозначность процессов, происходящих сегодня на "территориях". Дело, конечно, не в том, можно или нельзя будет "разделить" еврейские поселения и арабские деревни географически или политически. Гораздо более важная проблема состоит в том, выгодно ли им это будет экономически. Мне представляется, что рубеж выбора проходит не между идеями палестинского или израильского суверенитета на "территориях", а между концепцией взаимовыгодного сосуществования и продиктованного чисто политическими искусственными амбициями размежевания. Сосуществование — та реальная альтернатива "территориальному компромиссу" или

“палестинскому государству”, которая начинает казаться осуществимой на холмах Шомрона.

Среди шомронских поселенцев есть такие, которые хотели бы полного вытеснения арабов с “территорий”: есть такие, которые заявляют о своей готовности остаться в поселениях, даже если они войдут в границы “палестинского государства” — при условии, что оно будет дружественным к Израилю. Но большинство стоят на позициях добрососедского и взаимовыгодного сосуществования, при котором Иудея и Шомрон останутся израильскими, а их арабские жители получают ту или иную форму автономии.

Чего хотят сами арабы? Одни поселенцы считают, что они заинтересованы в сохранении выгодных для них отношений с Израилем, другие утверждают, что берет верх стремление к политической независимости, третьи думают, что арабы более всего хотели бы какой-то определенности — любого, но однозначного решения своего будущего. Несомненно, настроения арабских крестьян, горожан, интеллигенции могут склонить чашу этого будущего в ту или иную сторону.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

ГИЛЕЛЬ ГАЛКИН. ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ

Когда эта книга была опубликована несколько лет назад на английском языке, целые группы американских евреев специально приезжали к автору, чтобы оспорить его или выразить благодарность. Журнал “Мидстрим” назвал “Письма” важнейшей еврейской книгой последнего десятилетия”. Израильские газеты посвятили ей огромные полосы. Этот страстный, откровенный, полемичный разговор-раздумье о самых острых проблемах Израиля и диаспоры никого не оставляет равнодушным и каждому дает пищу для размышлений.

Цена книги — по заказу — 4,5 доллара (за рубежом — 9 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: “Foundation Moscow—Jerusalem”, P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

Я — Посторонний.

Тот самый, которому "вход воспрещен". Выход, впрочем, тоже.

Я посторонний в своей стране, которую абстрактно люблю, конкретно ж — просто боюсь. Боюсь, потому что каждое соприкосновение с ней заставляет меня вновь и вновь ощущать свое бессилие, бессилие жалкого, хоть и разумного, слизняка, которого вот-вот раздавит огромная неодушевленная машина, даже не машина, а железяка какая-то. Вот сейчас дотронется равнодушно — и нет меня...

Среди массы моих сограждан я тоже посторонний. Даже не посторонний — чужой совсем. "На троих" не соглашаюсь, от звуков разлюбленной гармошки зверею, да и от соприкосновения с массой этой самой у меня появляется глухое раздражение и желание сделать что-нибудь наперекор, не так, как все. А не "как все" — это у нас чревато... Да что там, — даже фамилию свою вслух произнести стеснительно, потому как она явно не русская, а ссылки на то, что фамилия "Иванов", может, еще более еврейская, чем моя, никого не убеждает, и в первую очередь — меня.

Марк Дейч

И для евреев я посторонний. Необрезан, женат на русской, иврита не знаю, идиш понимаю только благодаря немецкому, в Израиль ехать не хочу, потому что для такого небольшого клочка земли евреев там явно многовато. Только вот когда я слышу, как на иерусалимском базаре десять человек разметало очередной бомбой, мне становится почему-то неуютно и стыдно.

Обязательная принадлежность каждой камеры Бутырской тюрьмы — как и всей нашей жизни — свод правил: предписывающий, обязывающий и даже предоставляющий кое-какие права, стоящие, как и в случае Конституции, не дороже бумаги, на которой они написаны. Многочисленных пунктов и подпунктов этого свода я, к сожалению, не запомнил. Но:

“Подача коллективных жалоб запрещена”.

Почему?

А — как же! Одиночная жалоба — это не страшно, это за отдельную нетипичность сойдет. А коллективная — уже бунт.

... В нашей 324-й камере мне неожиданно пришлось вспомнить о своей профессии. У нас там тек унитаза. И тек так здорово, что, говоря по-книжному, ощущалось некоторое амбрэ; проще же говоря — воняло гадостно. Заявление одного из нас на тюремное начальство впечатления не произвело. Тогда-то и вспомнили мои сокамерники, что я — журналист. И нужно мне было пять заявлений написать (нас в камере пятеро было) с жалобой на несчастный унитаз, и все разные, непохожие друг на друга, чтобы — упаси Бог! — эти жалобы не посчитали одной, коллективной.

Величию могучего русского языка задача с протекающим унитазом оказалась вполне по плечу: починили.

У Варфоломея Зайцева, журналиста-злопыхателя и безродного космополита: “Мы — холуи, и гордимся этим”.

Это — около ста лет назад.

У маркиза де Кюстина, французишки-аристократа, махрового монархиста, обозвавшего нашу дорогую родину “жандармом Европы”: “В России жертвы произвола могил не имеют”.

Это — около полутораста лет назад.

У Джильса Флэтчера, английского дипломата-соглядатая при дворе Бориса Годунова: “Жизнь человека считается здесь ни по чем”.

Это — около четырехсот лет назад.

Уверен: если покопаться — найдем и раньше.

Ну и что?

То есть как — что? Сколько лет, веков, эпох — и все то же самое. И до сего дня ничего не изменилось. Мы смеемся и злорадуем, отыскав очередное соответствие. Мы подчеркиваем, выписываем, читаем вслух, перебивая друг друга: надо же, а? нет, вы только подумайте! Вон еще когда, оказывается!.. И опять смеемся.

А ведь не смешно.

Грустно.

Потому что безнадежно.

Я никогда не видел полковника Подреза, начальника Бутырской тюрьмы. Я не знаю, какой он: низенький или высокий, худой или толстый. Знаю только, что начинал он свою карьеру более двадцати лет назад здесь же, в Бутырке, с младшего лейтенанта. Но и эти сведения о нем могут оказаться сродни послужному списку подпоручика Киж. Словом, полковник Подрез — личность легендарная и таинственная.

С тем большим основанием я могу считать, что мне повезло. Видеть я его, впрочем, так и не видел. Но зато — слышал!

По внутритюремной радиосети выступал полковник Подрез с чем-то вроде беседы. Что-то такое о том, как себя нужно вести и как себя вести не нужно. И не ограничился полковник перечислением пунктов и подпунктов вышеупомянутых правил, кое-что от себя добавил. Дескать, некоторые арестованные возмущаются, что вот срок их санкции истек, а они все сидят. Так пусть эти граждане не возмущаются понапрасну, не портят себе нервы, которые им еще ой как понадобятся: срок санкции может хоть десять раз истечь, а без специального на то постановления никого отсюда не выпустят. И этого самого специального постановления тоже не ждите, потому как такого постановления не может быть в принципе. Так-то вот...

(Как сказала народный судья Калининского района Москвы Богданова адвокату моей жены, который, ссылаясь на закон, пытался отспорить хотя бы часть конфискованного у нас имущества: "Да знаем мы в а ш и законы! Сядьте и не мешайте!")

Прекрасно помню задорную маршевую песню:

— Русский с китайцем братья навек...

И потом:

— Сталин и Мао слушают нас...

И рефреном:

— Идут, идут вперед наро-о-о-ды!..

Идут-то они все еще идут, и каждый, конечно, к коммунизму, но почему-то теперь в разные стороны. И песню моего детства теперь уже не услышишь. А жаль. Потому как скоро совсем непонятно будет — что было, а чего не было.

Вот фильм "Офицеры" — коктейль из примитивной агитки и армейской сентиментальности. По телевизору показали его нынче раз, этак, в девятнадцатый. И вот что интересно: раньше сцена там была — герой картины помогает нашим китайским братьям в качестве военного советника (годы, надо полагать, тридцатые). А нынче сцены этой нету. Нету — и все. И понимай, как знаешь: то ли ее и не было в фильме никогда, то ли наши военные советники о Китае и слыхом не слыхивали.

Цензура, скажете?

Она.

Несколько лет проработал я в здании, что почти напротив столичного Центрального рынка. Сначала — недолго — в "Литературной газете", потом этажом выше, в "Литературной России". Какая из них желтее, сказать не берусь; ничем же прочим, кроме оттенка желтого, они не отличаются. И даже представитель Главлита — прощ говоря, цензор — один на обе газеты.

Милейший Александр Иванович! Круглолицый, улыбчивый, речь плавная, мягкая, голоса никогда не повысит. Молодой еще — а уже цензор!

Кабинетик у него был маленький, неприметный. Входная дверь, черным дерматином обитая, без номера и таблички с фамилией; выходя, он каждый раз тщательно запирал ее. В этот кабинетик я заходил к нему часто, поскольку был заместителем ответственного секретаря редакции и, ведя номер, должен был "утрясать" с ним различные цензурные вопросы. Обычно он не чинился и заходил ко мне сам, но по вечерам, когда я оставался за начальство, он часто звонил мне по внутреннему, и я, спустившись этажом ниже в уютный кабинетик, обнаруживал его в знакомом состоянии: круглое лицо его лоснилось помидором, голос звучал совсем тихо; он виновато улыбался, хотя грешок его был мне известен.

— Слушай, Марк, — начинал он, — тут вот в вашем очерке... А может, примешь глоток?

Я отказывался.

— Да, так тут в вашем очерке автор летит в Н. самолетом. А в Н. аэродрома нет.

— То есть как это нет? Да ты что, Саш! Я сам не раз там бывал...

— Мало ли что бывал! А вот по н а ш и м данным там аэродрома нет.

— Так не военный же — обыкновенный, пассажирский.

— Никакого нет!

Спорю я больше "для интересу", самолет все равно придется заменить поездом — мы оба это прекрасно понимаем. Но почему же не дать милейшему Александру Ивановичу возможность почувствовать свою значительность? Тем более, что в таком состоянии он очень в этом нуждается. Трудно мне, что ли? Не-а, не трудно. И мы еще подискутируем немного, и Александр Иванович обязательно слазит в свой сейф, достанет оттуда "ихний" справочник в солидном коленкоровом переплете без единого слова на обложке, раскроет на нужной странице и, тыча толстым пальцем (не забывая, впрочем, оберегать написанное от моих глаз), будет еще некоторое время "доказывать" свою правоту. Потом он оттиснет на исправленной мною полосе свой штамп с личным номером, и мы расстанемся, довольные собой и друг другом.

На вторые или третьи камерные сутки я попытался убедить власти придерживающие в противозаконности моего ареста. Для этого я объявил голодовку и потребовал вызвать прокурора. Это во мне еще остатки юношеской романтики бродили.

Явился прокурор. Вернее, явилась: прокурором была женщина лет сорока пяти — и это единственное, что можно было о ней сказать.

Я изложил свои доводы: улики против меня нет, "свидетели" — оперативники с Петровки; таким образом, я просто не могу понять, на каком основании...

— Скажите, — прервала меня прокурор, основная обязанность которого, как известно, — наблюдение за законностью действий следственных органов, — скажите, а вы можете это доказать?

— Что доказать, — не понял я.

— Ну, доказать, что то, что вы говорите, соответствует действительности, и вы ни в чем не виновны?

Я опешил и не сразу пришел в себя.

— А что, разве презумпцию невиновности уже отменили? — спросил я.

— Почему же... Никто ничего не отменял. А только — докажите.

На экране телевизора я вижу очень пожилого и очень усталого человека, вижу, как трудно ему ходить, и слышу его тяжелую, почти нечленораздельную речь.

Этот человек очень болен.

Зная это, я понимаю, как мучительно для него все то, что называется долгом — встречи, рукопожатия, доклады. Он просто старый, больной человек. Несколько лет назад он перенес инсульт, левая половина его лица парализована; перед каждым публичным выступлением над ним долго колдуют врачи и массажисты, а во время трансляций таких мероприятий по телевидению операторам разрешен лишь общий план. Если же изредка камера все-таки приближает к нам его лицо, то только справа.

Но вот речи позади, и он теперь в ложе Кремлевского Дворца Съездов. Он аплодирует нехотя-тяжело, апатично; просто — больной старик, который вынужден до конца доигрывать отведенную ему роль. А на сцене — концерт в честь... ну, скажем, очередных выборов в Верховный Совет СССР, и солист марширующе выкрикивает слова припева:

Спасибо вам за ваш великий подвиг,
Наш Генеральный Секретарь!

Ах, как знакомо, как похоже! Раньше, правда, в экстазе патетики скатывались до фамильярности ("Тебе, наш Учитель и Вождь, мы присягаем!") Так тогда же времена другие были, культ, а теперь — культа нету, теперь только на "вы".

Хрущев рубил в капусту проклятый культ личности, но не изрубил-таки: культа этого самого культа, и довольно увесистая, тяпнула его по голове, да так, что он уже не оправился.

И никому не казалось странным (даже — Солженицыну, чей голос при воспоминании о Хрущеве вдруг странно теплел-мягчел чуть ли не до умиления), что кульминации хрущевского разгула демократии сопутствовали красочные афиши документального фильма "Наш Никита Сергеевич".

А теперь что?

А вот.

Вопрос из новой анкеты:

“Что вы делали во время войны: участвовали в боях на Малой Земле или отсиживались в окопах Сталинграда?”

(Анекдот) (?)

К цензуре — слову и понятию — мы все уже так привыкли, что даже не удивляемся. Да и чему удивляться-то, если мы настолько хорошо знаем, что можно, а чего нельзя, что в случае появления чего-то недозволенного автоматически включается наш “внутренний” цензор. Пишешь, к примеру, пустяковенькую статью, а он уже тут как тут: “Да ты в уме ли, старик? Никогда ведь это не пропустят”. И вычеркиваешь — фразу, абзац, главу, мысль.

Впрочем, как у нас обстоят дела со словом печатным, всем известно. А вот как со зримым?

А — так же.

Конечно, изображение — не слово, его вроде бы не вычеркнешь. Но оказывается, можно и вычеркнуть. И очень даже просто. Оказывается, на телевидении у нас не бывает ни одной прямой передачи. Даже трансляции спортивных матчей, которые дикторы чуть ли не торжественно объявляют “прямыми репортажами”, — ни что иное, как мистификация. Последний действительно прямой репортаж был показан по советскому телевидению весной 1969 года — о встрече между сборными командами СССР и Чехословакии на чемпионате мира по хоккею. Чехи выигрывали, и к концу матча приунывшие наши болельщики увидели на своих телеэкранах ликующие трибуны и огромный, написанный хотя и в спешке, но по-русски и без ошибок, плакат: “Танки ваши — шайбы наши!”

Конечно, кого-то сняли, кого-то понизили в должности, кто-то отделался выговором по партийной линии. И тогда же решено было: ни одной прямой передачи в эфир.

Делается это просто. Любая передача, в том числе (и в особенности) якобы прямая, сначала записывается на видеоманитовфон. В эфир идет только запись. В случае, например, трансляции со стадиона запоздание незначительно, всего две-три минуты, но они-то и позволяют бригаде особо проверенно-надежных техников выпустить нежелательную сцену или — когда это уж слишком явно бросилось бы в глаза — пустить вместо нее замедленное повторение какого-нибудь впечатляющего момента.

Как же такое может быть, — спросите вы, — чтобы без прямых

передач? А ну, как транслируют выступление кого-нибудь "сверху"?

Представьте себе — и тогда.

Пару лет спустя после злосчастного матча вручал С а м товарищу Гусаку (опять чехи, вот ведь невезение) некий орден. И конечно, передача была "прямая". И то ли в пиджаке товарища Гусака заблаговременно дырку не позаботились сделать, то ли дырка была, а только С а м в нее никак попасть не мог, но орден никак не привинчивался. А микрофонов всюду понатыкали множество, да и чутких к тому же, и слышали присутствующие невнятное чертыхание, какое-то сопение, и потом: "Ну вот, весь пиджак тебе испортил. Ну, ничего, мы тебе новый купим".

Присутствующие-то слышали, да их, благо, немного было, опять же все проверенно-надежные. А для телезрителей этих слов и не было вовсе. Изображение, правда, отличное, губы шевелящиеся хорошо видны, а вот слов — не было.

Не было такого — и все тут!

...Сначала меня заставили переодеться: брезентовые, немыслимо грязные штаны, такая же куртка без пуговиц и огромные дырявые ботинки, словно нарочно утыканные изнутри гвоздями. Потом конвоир приоткрыл какую-то дверь.

— Что там? — услышал я чей-то голос.

— Карцерный, — ответил мой конвоир.

— Ну, давай.

Конвоир посторонился, и я вошел.

Если можно было бы хоть на секунду забыть, что я нахожусь в Бутырской тюрьме, то кабинет, куда я попал, поразительно напоминал медицинский: белые застекленные шкафы с лекарствами, обитая клеенкой кушетка. За столом сидел человек в белом халате. Мне уже доводилось его видеть.

Дважды в неделю в наши камеры доносилось, постепенно приближаясь, характерное позвякивание. Скоро оно раздавалось совсем рядом, и "кормушка" с лязгом откидывалась. "Лепила пожаловал", — обязательно говорил кто-нибудь из нас.

В отверстие "кормушки" был виден небольшой металлический столик на колесиках — он-то и дребезжал, подкатываясь, — на котором валялись вперемешку лекарственные облатки и бинты. А рядом — человек в белом халате (фельдшер ли, врач ли — до сих пор мне неизвестно). Двое моих сокамерников уже припали

к "кормушке". Поскольку им пришлось сильно согнуться ("кормушка" расположена где-то на уровне живота), из-за их спин "лепила" был мне хорошо виден. Он улыбался.

— Ну что тут у вас? — спросил он.

— Гражданин начальник, голова сильно болит, — пожаловался один из страдающих.

— А у меня — живот, — добавил второй.

Продолжая улыбаться, человек в белом халате наклонился над столиком, достал из какого-то пакетика большую таблетку, разломил ее пополам и протянул моим товарищам — каждому свою половину. Улыбка его сделалась еще шире.

— Вот эта — от головы, а эта — от живота! — объяснил он.

Медицина!

К этому-то улыбчивому ее представителю и привел меня сейчас мой конвоир: по тюремному правилу перед отправкой в карцер заключенного должен осмотреть врач. На сей раз он не улыбался и даже не поднял головы от бумаг.

— Жалобы есть? — спросил он.

— Да вообще-то радикулит у меня... — ответил я.

— Это не страшно, — на меня эскулап по-прежнему не смотрел. — У нас такой карцер, что от любых болезней вылечивает. — И кивнул конвоиру: — Забирайте!

Мне стало любопытно.

— Вы — врач? — спросил я.

Вероятно, в моем голосе звучало неподдельное изумление, потому что на сей раз он поднял голову от стола и посмотрел на меня; на его лице, как и давеча, у камеры, появилась широкая улыбка.

— Ну, прежде всего я — работник Министерства внутренних дел, — растягивая слова и все так же широко улыбаясь, ответил он.

— Понятно! — сказал я.

И пошел в карцер.

Несколько субботних вечеров у московской синагоги произвели на меня странное и тягостное впечатление. Спустя несколько минут после того, как мы с приятелем остановились в негустой толпе на улице Архипова, к нам подошел пожилой человек:

— Невест ищите, молодые люди?...

Минут через пять подошла женщина:

— Девушки не нужны? Есть очень красивые девушки...

Еще одна женщина:

— Молодые люди, жениться не пора?..

Субботняя толпа евреев у синагоги при всей своей монолитности достаточно разнородна. Люди пожилые и средних лет образуют довольно стойкие группы. И разговоры в них стойкие и однообразные: отъезды, кто как там устроился, кто сколько там зарабатывает. Несколько весьма почтенных старцев обсуждают достоинства присутствующих женщин. Плотное кольцо окружает двух молоденьких бородатых американских евреев. Тут же рядом женщина продает по три рубля простенькие медальоны в форме звезд Давида, только что полученные в подарок от тех же американцев. Все эти группы и группки переходят, переливаются одна в другую. Особняком от них держатся молодые евреи: они выделяются решительностью движений и экстремистски-колючими взглядами, которыми они встречают каждого, пришедшего сюда впервые...

Какое-то щемящее чувство не покидает меня здесь, в толпе московских евреев. Может быть, из-за того, что и здесь я — посторонний? Не знаю. Но что-то ущербное в этих ежесубботних еврейских сходках, безусловно, есть.

Я записал несколько подслушанных мною разговоров, которые назвал "Диалоги у синагоги". Вот один из них:

— Скажите, вы верите в переселение душ?

— Не знаю...

— А сестра у вас есть?

— Есть.

— А давайте, я на ней женюсь!

...Три метра в длину, два в ширину. Если распрямиться в рост, упрешься головой в потолок. Напротив низкой двери (нужно сильно нагнуться, чтобы войти) — маленькое зарешеченное оконце, которое не выходит никуда: за ним на расстоянии полуметра стенка бетонного колодца. Здесь же, у окна — унитаз, прямо над ним — кран. От унитаза к двери слабым, но широким ручьем бежит вода: пол покатый, но не настолько, чтобы вода текла узким ручейком, а чтобы она успевала разлиться от стены до стены.

Справа к стене плотно прилегает узкая деревянная панель; в десять вечера охранник с помощью специального ключа опускает ее, в шесть утра — поднимает и запирает на замок. Это — "кровать".

Ни подушки, ни какого-либо подобия одеяла не полагается. Уйдя в стену, "кровать" образует полукруглый столик и крошечный табурет, на котором можно удержаться, прочно уперевшись ногами в пол.

Разнообразие в еде обеспечивается чередованием: один день — теплая баланда "по пониженной норме", на следующий день — вдоволь воды из крана над унитазом и 400 граммов черного хлеба.

Таков в Бутырской тюрьме карцер.

В общем-то, к тюрьме привыкаешь довольно быстро. Ну, еда такая, что не всякая собака есть станет, — так поголодать временами даже полезно; ну, про постельное белье если здесь заикнуться, так на смех поднимут, — так и то правда, что не курорт ведь; ну, люди... впрочем, люди здесь те же, что и на воле, а временами и очень даже интересные попадают, только поговориться с ними уметь надо — так и на воле надо уметь. Да и к тому же мыслишка где-то там, в глубине, спокойная отложена: не навсегда же, выйду ведь рано или поздно; ну, не на свободу (это вряд ли), так хоть в зону — все небо над головой не в клеточку (прогулочные дворы Бутырки — это каменные мешки на крыше здания, забранные сверху решеткой).

В карцере время застывает. Оно становится густым, плотным на ощупь, оно сворачивается, закусывается. Трудно сказать, как и почему это происходит. Может быть, в этом повинен карцерный воздух — густой, маслянистый, промозглый. Мне довелось дышать им в самое жаркое время лета, в конце августа, и то меня непрерывно бил озноб. Очевидцы же утверждают, что пятнадцать суток, проведенные в карцере зимой, неминуемо оборачиваются скорым туберкулезом. Кстати: пятнадцать суток карцера по тюремным правилам — максимальный срок наказания заключенного. Но, как и все наши отечественные законы, правило это оставляет большой простор для весьма широкого его толкования. В правилах ничего не говорится о том, как часто можно подвергать заключенного наказанию карцером. После пятнадцатой ночи ему, одуревшему от холода и бессонницы, дают несколько часов отдыха — отводят назад в камеру (ах, какой родной и прекрасной кажется она после карцера!) и, если хотят продлить пытку, вскоре снова уводят в подвал.

Вот правило и соблюдено. Конечно, прокурор мог бы придраться... если б захотел. Только он не захочет.

Если прижаться к карцерной двери, и если сосед за стеной сделает то же самое, то, напрягши голос, можно изредка переговариваться; это, конечно, запрещено, но надзирателя в коридоре никогда не бывает, потому что вода там стоит по щиколотку. Так вот, мой сосед прокричал мне, что, благодаря такому способу, он отбывает третьи пятнадцать суток подряд. Счастье его, что не зима...

Чем не иллюстрация всеобъемлющей гуманности нашего государства?

Уже на воле смотрел я какой-то французский фильм, где заключенный, обнаружив в своей камере клопа, угрожает начальнику тюрьмы поведать об этом безобразии журналистам, а тот заискивает перед ним, умоляет не губить его карьеру. А в камере, между прочим, — шкаф с плечиками для верхней одежды и пружинные кровати с белоснежными простынями и наволочками. "Господи, — думал я, — да где же это такое? Неужто на нашей планете?"

Ох, и надорвали, наверное, животы от хохота бывшие зеки, посмотревшие этот фильм!

"Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!" — этот молебен моих детских лет я очень хорошо помню. Потом он изменился: "Спасибо партии за наше счастливое детство!" — так он выглядел в детском садике, куда ходил мой сын. Эту обезличенную форму молебен сохраняет и посейчас.

...В Москве, на улице Астрадамской, находится интернат для больных детей. В таких интернатах необходимость у нас постоянно увеличивается: молодые матери-одиночки, пренебрегая заботами нашего великого государства, от своего потомства или еще в роддомах отказываются, или еще до родов так успешно пытаются от него избавляться, что если такой человечек все-таки родится, то единственная дорога для него — такой вот интернат.

Здание интерната старое, грязное, снаружи и внутри обшарпанное до немыслимой степени. Лет уж десять как капитального ремонта просит. В общем, со счастливым детством никак не сочетается.

И вот наискосок от него, метрах в двухстах, новый дом построили. И всего за пять-шесть месяцев — невероятные для нашего строительства темпы. Здание прекрасное: из розового туфа, с огромными светлыми окнами. Рядом, как по мановению волшебной палочки, сквер образовался. Только детишкам больным

в этом сквере гулять не пришлось, так они в старой развалюхе и живут по сей день. А красивое здание, которое им из своих окон хорошо видно, еще и красивой мраморной доской украсилось. А на доске той надпись: "Тимирязевский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза".

Очень легко могу себе представить какой-нибудь детский садик в Германии времен Третьего Рейха. Подтянутые воспитательницы, этикие блондинистые арийки в халатиках цвета хаки. Детишки, конечно, бегают. Улыбаются. А где-нибудь на видном месте — красивый такой плакат: "Спасибо Фюреру за наше счастливое детство!"

"Газета, — как нам всем известно еще со школьной скамьи, — не только коллективный агитатор, но и коллективный организатор". Однако и этим ее важнейшие функции не ограничиваются: советская газета еще и коллективный осведомитель.

Регулярно, не реже одного раза в месяц, предварительно уведомив о своем визите по телефону, в наш отдел писем являлись двое "мальчиков в штатском". На несколько часов они запирались с заведующим отделом, который знакомил их с заранее подобранной и рассортированной почтой. Писем наша редакция получала не слишком много (с "Литературкой" не сравнить), но все же вполне достаточно, чтобы отдел из трех сотрудников считался рентабельным. Но "мальчиков" и не интересовали все письма, а лишь те, в которых их авторы на основании "отдельных недостатков" сумели подняться до обобщений. А такие письма случались, — хоть и не часто, — и мне изредка доводилось их даже читать. Не знаю, какие уроки извлекали наши гости из этих писем, но думаю, что отсутствие в них подписей и обратных адресов не было такой уж чрезмерной предосторожностью. И знаю еще, что подобная работа подобными же "мальчиками" проводится во всех редакциях без исключения.

Ну, чем не Полиция Мысли из Орвелла? Конечно, пока еще без подвалов Министерства Любви. Так ведь лиха беда начало. Тем более, что, как говорят, не такое уж и начало, а скорее — продолжение, и совсем недавно все это было — и подвалы и прочее. И Министерство: как стояло, так и стоит себе.

А по проторенной дорожке идти — одно удовольствие.

Очень интересным обещало быть очередное собрание нашей Академии Наук. Академики явились почти в полном составе (а это уже само по себе явление уникальное): должно быть, какие-то слухи дошли и до них.

А дело все в том, что у вышестоящих товарищей задумка такая была: уговорить академиков на этом собрании исключить из своих рядов А.Д.Сахарова. Сам-то он нынче в город Горький добровольно переселился, Москва, вишь, ему надоела, так и там от него одни хлопоты. Приходится простым нашим советским людям на партийных собраниях разъяснять: дескать, как на улице его увидите — бегите прочь, поскольку ненормальный он, академик-то этот самый. Взял вон, да и отдал свои собственные денежки, больше ста тыщ, — какую-то больницу строить. Разве нормальный человек отдаст? Ясное дело — свихнулся.

Собрание открыл академик Александров, зачитал повестку дня. Пункт первый, второй... пятый... Все. Но:

— Есть еще один вопрос, который мы с вами должны обсудить, — как бы смущаясь, проговорил Александров. — Однако я даже не знаю, в каких выражениях его перед вами поставить. Дело в том, что мировая история не знает прецедента, когда Академия Наук исключила бы одного из своих членов. Так что и в этом нам, вероятно, предстоит быть первыми...

— Отнюдь не первыми! — раздавшийся с места голос принадлежал Петру Леонидовичу Капице. — Глубокоуважаемый председатель ошибается — необходимый прецедент уже имел место: в 1934 году по инициативе имперского министерства пропаганды, руководимого, как известно, доктором Геббельсом, из Прусской Академии Наук был исключен Альберт Эйнштейн.

Ропот прошелестел после этих слов по немногочисленным рядам наших академиков. Но Александров среагировал мгновенно:

— Ну, что ж, в таком случае я снимаю этот вопрос с повестки дня.

А про себя, небось добавил: "Временно, в р е м е н н о"...

Город Череповец, что на севере Вологодской области расположен, — даже и не город вовсе, а как бы один огромный заводской комплекс. И металлургический комбинат, и азотно-туковый, и еще десяток других. Днем и ночью над городом клубы вонючего дыма висят. Уж не знаю как там со средой обитания,

а вот с самими обитателями этой среды дело явно неважно обстоит. Во всяком случае, молодых людей, родившихся в Череповце и проживших там безвыездно до 18 лет, от призыва в армию по состоянию здоровья освобождают.

Население Череповца невелико, 280 тысяч. Плюс 20 тысяч "химиков".

К Министерству химической промышленности эти 20 тысяч никакого отношения не имеют. Они находятся в прямом ведении Министерства внутренних дел.

Во время Хрущева могучая сила революционных преобразований не обошла и нашу юриспруденцию. Суды наши все чаще и чаще условную меру наказания применять стали. Но условную-то условную, да не совсем, а с "обязательным привлечением к труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговора". Ну, места, сами понимаете, какие. При Хрущеве как раз стройки "Большой химии" подымались, тогда и пошло — "химики" и "химики". Таким вот "химиком" я и оказался в Череповце.

Попробуйте представить череповецкое общежитие "химиков". Четырехэтажное здание. На первом этаже — комендатура: круглосуточное дежурство взвода милиции. Остальные этажи отданы "химикам", по 40—50 комнат на каждом. Вот комната, в которой я жил: 8 человек на 8 метров, койки двухъярусные, один стол и два стула; все. В коридоре один туалет с тремя кабинками и три умывальника. Санитарное состояние соответственное.

Соответственная у "химиков" и работа: самая тяжелая и низкооплачиваемая, на которую "вольный" пойдет разве что от отчаяния. Ну, например, — бетонные работы под открытым небом на сорокаградусном морозе; кто на них согласится по доброй воле? А у "химиков" согласия и не спрашивают. Их просто используют (именно используют) как рабов, и они, как и рабы, лишены каких бы то ни было прав, даже самых минимальных. Череповецким врачам дано негласное указание не освобождать "химиков" от работы по болезни. В тех же редких случаях, когда врачи бывают вынуждены положить "химика" в больницу, время болезни ему не оплачивается.

Этого, однако, мало. Любая провинность — опоздание на работу или к вечерней проверке (с десяти вечера до шести утра "химики" должны находиться в общежитии, кроме тех, конечно, у кого ночная смена), невыполнение производственной нормы, да просто

в сердцах брошенное начальству грубое слово — и “химика” отправляют в лагерь, причем время, проведенное им на этих тяжелых принудительных работах, не засчитывается.

Такова система современного советского рабовладения.

Стоит еще добавить, что 20 тысяч череповецких “химиков” свезены сюда из различных областей страны, часто очень изда- лека. Побывать дома, повидаться с родными они чаще всего воз- можности не имеют: нужна специальная бумага от комендатуры (паспортов у “химиков” нет), получение которой связано с бес- конечными унижениями и лакейством; да и график работы, в основном, трехсменный, а “прогул” почти неминуемо ведет в лагерь. К тому же заработок у “химика” таков, что его едва- едва хватает на то, чтобы прокормиться, а поездка домой денег требует.

Иллюзорность своей свободы “химики” понимают прекрасно. Конечно, есть среди них немало тех, кто пытается продержаться в этих условиях до конца срока. Большинство же использует “химию” как кратковременную передышку. Результат нетрудно себе представить: город терроризирован. Грабежи, изнасилова- ния и убийства стали повседневностью. Череповецкая милиция появляется на улицах только значительными группами, а по вече- рам еще и с собаками. Все протесты жителей города против “хи- мии” остаются тщетными: отказаться от использования прину- дительного, а значит практически бесплатного труда наша эконо- мика не в состоянии.

Остается подсчитать, сколько у нас таких череповцов: сотни? тысячи?

Этих цифр мне знать не дано.

Диссидент ли я?

И да, и нет.

Ежели, конечно, по принципу “кто не с нами, тот против нас” рассуждать (а принцип этот у нас все так же в чести, разве что к стенке по нему, как раньше, пока не ставят), то диссидент, без- условно. Ибо ложь, которой наше государство вот уже почти 65 лет живет, я принять никак не могу. Начинается это неприятие с мелочей. Ну вот, к примеру, сообщает мне газета “Правда”, что хлеборобы такой-то области в нынешнем году приступили к убор- ке урожая на две недели раньше, чем в прошлом. А в прошлом го- ду примерно то же писали, срок только другой был — неделя или

три. И в позапрошлом. И в поза-позапрошлом. Вот я как-то и подсчитал все эти недели. И оказалось, что, если верить газете "Правда", колхозники той самой области в нынешнем году приступили к уборке урожая еще до того, как посеяли...

Но чаще всего и считать-то необязательно — достаточно глаза открытыми держать. Вот говорят мне: полное изобилие у нас; а в Череповце, где мне жить довелось, в самом что ни на есть "рабочем" городе, — нет ни мяса, ни колбасы, ни масла. С сахаром перебои. Мыла, кстати, тоже нет. Да что там Череповец! В столице нашей белокаменной за молоком толпа, потому как бывает оно в достатке только по утрам, пеленки детские — по пять штук в одни руки (а ну как двойня?), горчичников в аптеке купить — только по десятку.

Или вот говорят мне: о повышении цен не может быть и речи, цены у нас стабильные. Что касается основных продуктов питания — мясо, молоко, картофель и хлеб — все правильно, цены те же. Но из перечисленного только хлеб в достатке и есть. А все остальное... Картошка если когда в магазине и попадется, так не больше чем по пять килограммов продают. А на рынке она — в 6-8 раз дороже, чем у государства. Что же до прочего, так нет такого, чтоб на глазах не подорожало. Ну, не напрямую, конечно. А вроде как товар другой совсем (а другой — это значит, к примеру, этикетка новая). А иногда и такая ложь необязательна. Цены на медикаменты у нас теперь подстать западным. Или вот, скажем, постельное белье — взяло и подорожало в 2—2,5 раза, да и дорогого-то тоже не найдешь. А и то правда: не предмет же первой необходимости, да и мы не графья какие-нибудь, и без постельного белья поспим...

А то вот еще: говорят мне о равенстве нашем всеобщем, о "слугах народа", которые за службой себя забывают. Ну, что слуги эти самые на службу и обратно на черных "ЗИЛах" по перекрытым улицам катаются, так это еще полбеды: может, они при "ЗИЛах" — то побыстрее оборачиваются, стало быть, побольше для народа сделать успеют... Но вот познакомился мой приятель с девушкой одной. Ну, девушка как девушка; только в каком-то странном доме живет — когда приятель мой ее провожал, ему в глаза бросилось: особнячок такой неприметный за воротами стоит, а в воротах — охрана в штатском. Конечно, в гости его пригласили, он и пошел, и торт с собой поволок. С этим тортом и вышло приключение забавное. Пришел он, сразу от порога торт вручил. Девушка

с мамой его познакомила, а та к столу пригласила. А перед тем показала, где ванная, — чтоб, значит, руки помыл. Вышел мой приятель из ванной, да не в ту сторону и повернул (квартира там такая, что сразу и не поймешь, сколько комнат; заблудиться — раз плюнуть), и попал в кухню. А там прислуга под бдительным мамашиним взглядом спускает его торт в мусоропровод. Но даже и не смутилась вовсе; мамаша его пассии улыбнулась ему лучезарно и пояснила:

— Видите ли, дело в том, что мы из города ничего не едим!

Так-то вот.

Жаль, не догадался мой приятель спросить, откуда же они едут берут. А больше он туда не ходил.

...Лицемерие и ложь стали привычными, как утренняя газета. Мне говорят: незыблемы устои социалистической семьи; на самом же деле семьи распадаются, едва успев сложиться. Мне говорят: люди в стране Советов обладают высокой моралью и нравственностью; в действительности же — коррупция пронизывает все слои общества, а структура некоторых становится все больше похожей на мафию. Проституция и наркомания по своим размерам уступают разве что пьянству, испокон веков признанному традиционно русским злом. Меня убеждают: советское государство — самое демократическое в мире, а на деле — совсем по-другому получается. Вот, скажем, написано в Конституции, что производить обыск без санкции прокурора не положено. А прокурор-то — он ведь тоже человек, он местом своим прокурорским очень даже дорожит; ему основания всякие подавай, чтоб потом каких неприятностей не вышло. А оснований у спешащих на обыск, может, и нет никаких, одно чутье только, да желание план перевыполнить. Как тут быть? А вот как. Заявятся к вам человек шесть, удостоверения покажут и такой разговор поведут: санкции на обыск у нас вообще-то нет, но вы же — советский человек, вот вы нам и помогите, дозвольте у вас о с м о т р произвести; а то, может, сами покажете, где у вас тут чего припрятано? Ну, советский-то вы советский, и в другой раз вы, конечно, так бы и поступили: почему не дать посторонним в своем белье порыться? еще и вывернем его наизнанку — мол, глядите, люди добрые, нам скрывать нечего, на виду живем, нас все знают... Однако как раз сегодня что-то такое у вас не склеилось: аванс ли на работе не дали, жена ли мясо в борщ не положила (где ж его взять, мясо-то), а только вы сегодня сильно не в духе. Ну и

посылаете вы этих самых "осматривающих" куда подальше. А им это и нужно. Трое-четверо у вас в квартире останутся — глядеть, чтобы вы чего не спрятали понадежнее или, упаси Бог, не уничтожили. А остальные к прокурору спешат. Теперь-то у них основание самое что ни на есть веское: раз советский человек добровольно на осмотр не соглашается, значит, не такой уж он советский — небось, прячет чего-то, боится, чтоб не нашли. Под такое основание любой прокурор что хошь подпишет. И подписывает. Потому как и впрямь подозрительно: значит, есть чего скрывать, если добровольно не соглашается... Потом в квартире у вас все перероют и, скорее всего, ничего не найдут. Вы бы и в крик, а они вам скажут назидательно: ведь просили же вас по-советски, как сознательного человека, а вы...

Подобные примеры я мог бы еще долго приводить, и чем больше их будет, тем инакомысленнее буду и выглядеть. Однако диссидентство мое бездеятельное, скептическое — инакомыслие постороннего. И вот почему.

Издавна активное инакомыслие на Руси уповало на народ. И не было еще случая, чтобы этот самый народ его поддержал. По приказу офицеров вышли солдаты из казарм на Сенатскую площадь, постояли, намерзлились и по приказу более высокого начальства разошлись, так ничего и не поняв. А это, оказывается, Декабристское восстание было. А зачинщики потом на допросах валили все друг на друга, припоминали массу имен и так детализировали обстоятельства, что даже выдавшие виды следователи диву давались. Хроники свидетельствуют, что лишь двое из всех вели себя по-людски, отказавшись что-либо припоминать и кого-либо называть. Да и то: на проверку вышло, что один из этих двоих к декабристам никакого отношения не имел, но из гордости не пожелал этого доказывать (а с презумпцией невиновности у нас и тогда уже туговато было).

Дальше — больше. Народников наших — тех самых, что целью своей положили борьбу за счастье народное — сам же народ в руки жандармов "тепленькими" и сдавал. Дескать, "против властей не бунтуй!" А позднее, когда всяких радетелей за лучшую долю народную больно уж много развелось, так сам же народ против них и организовался: в "Союз русского народа" да в "Союз Михаила Архангела". Нынче мы эти союзы "черносотенными" зовем, а ведь из самого что ни на есть народа они состояли. Потому как Русь наша всегда правильно понимает, за кем сила, и дубин-

ку эту — “против властей не бунтуй!” — всегда по назначению использует. Власть меняться могла, дубинка же прежней оставалась.

А теперь у нас и совсем все просто стало. Раньше ведь, согласно нашим школьным учебникам истории, царь был — кровопивец, а народ — страдалец. А нынче как? Да вот: “Народ и партия едины!”

Правительство у нас поистине народное. Спорить с этим утверждением, конечно, можно, но небезопасно, потому как сам народ и разорвет в клочья. Примеров тому множество. И кажется мне, что утверждение, будто небольшая группа властолюбивых фанатиков с помощью ЧК-КГБ удерживает власть над многострадальным и терпеливым русским народом, по меньшей мере сомнительно. Ибо единство народа с партией, а значит, и с правительством — не выдумка и не лозунг, но — реальность. Поэтому-то, думается мне, уповать на народ все равно что уповать на правительство, а это, согласитесь, безнадежно.

Поэтому в смысле радения за народное счастье — не диссидент я. С этой задачей правительство лучше меня справится. Ибо оно — правительство наше — народно в полном смысле этого слова. Ведь все они в “Волгах” и “Чайках”, — родня тем, кто из толпы с обочин на машины эти глазеет. Образование и у тех и у других примерно одинаковое: что в трамвае слышишь — “коммунизм”, что со съездовской трибуны. И те, и другие шляпы одинаковые носят, фасончик “куды прешь?” Вкусы посущественней тоже сходятся. И народ, и правительство любят выпить; и правительство, и народ не любят жидов и интеллигенцию. А самое главное — и те, и другие терпеть не могут этих самых диссидентов.

Трудно удержаться диссидентскому пылу от угасания после подобных рассуждений, но мыслю я все еще иначе. И тут я обнаруживаю, что современное движение инакомыслящих в России весьма неоднородно. Зачастую оно объединяет людей с такими полярными убеждениями и целями, что меня все чаще и чаще охватывает недоумение. Некоторые из них действительно подвижнически стремятся делать добро, помогать, вступаться... Это стремление заставляет их отказываться от элитарно-благополучной жизни, от сытого конформизма в обмен на непредсказуемые санкции властей, наиболее благополучная из которых — быть вытолкнутым с трапа аэрофлотского самолета где-нибудь во Франкфурте или в Вене. Эти люди представляются мне миссионерами в самом высо-

ком смысле этого слова, миссионерами среди дикарей — к сожалению, жестоких и равнодушных. Некоторых из этих людей мне посчастливилось знать, и после каждой встречи с ними у меня надолго сохраняется чувство удивительной для нашей жизни приподнятости.

Что общего у этих людей? Что их объединяет? Прежде всего — осознание самодовлеющей ценности человеческой личности, признание за человеком права иметь собственную точку зрения по любым проблемам, права на выбор — безразлично, информации ли или кандидата “блока коммунистов и беспартийных”. Эту общность можно определить и короче, одним словом — интеллигентность.

Есть и другие диссиденты. Желавшие уехать на Запад и организуящие себе такую возможность участием в демократическом движении; завоевывающие себе имя на Западе; перепевающие давно знакомую мелодию: “все беды России — от жидовствующих интеллигентов” (даже термин соответствующий появился — “черный самиздат”); и наконец, нашедшие в диссидентстве путь к преодолению комплекса неполноценности, собственной психической неуравновешенности и дисгармонии.

Диссиденты ли все они? По-видимому, да: постоянный риск оказаться в нечеловеческих условиях советской тюрьмы и лагеря дает им право так себя называть. И все-таки... Какие-то появляются у меня возражения, какое-то несогласие. Но возражения мои — возражения постороннего, и ничего, кроме глухого неприятия, они не вызывают.

Ну, так как же: диссидент ли я?

И да, и нет.

А все-таки?

Вообще-то, конечно, больше “да”, чем “нет”.

И тут слышу я кое-какие ехидные слова в свой адрес: дескать, какой же ты есть на самом деле? А то напустил туману-то...

Ну, что ж тут делать, такой уж... Посторонний. Потому и неспокойно мне здесь, постороннему-то, неуютно, — в стране коммунистических субботников и бесконечных споров о судьбах России, в стране луддитов и охранного отделения, в стране сумасшедшего оптимизма и оптимистического сумасшествия. И куда бы податься, чтоб цельность человеческую и душевное равновесие обрести? Да и существует ли где-нибудь такой уголок?

...Приходит еврей в "Интурист" и просится в путешествие. "Пожалуйста — буднично отвечают ему, — выберите, куда бы вы хотели поехать, и покупайте билет". — "Действительно, куда? — вслух размышляет еврей. — Пожалуй, в Америку. Хотя, впрочем... Не знаю, кто там кого линчует, но уж еврею точно достанется. Тогда в Англию. Нет, тоже не годится: баба там какая-то ненормальная — ИРА, то стреляет, то бомбы кидает. Лучше уж в Италию. Рим все-таки, Колизей... А Красные Бригады?.."

Служащий "Интуриста" ставит перед ним глобус: "Я вижу, у вас затруднения. Пожалуйста, выбирайте спокойно, не торопитесь".

Еврей долго-долго крутит глобус, бормочет что-то под нос; наконец, спрашивает:

"Скажите, а другого глобуса у вас нету?"

Так, может, найдется хоть какой-нибудь, пусть совсем крошечный другой глобус?

Нет, вряд ли.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ КНИГУ
ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ. РУССКИЙ РОМАН

300 стр.

Цена 15 долларов

Первое художественное произведение известного автора не случайно названо "Русским романом" — оно вобрало в себя и размышления о России, и типичную русскую судьбу, и множество современных русских типов, и трагизм сегодняшней России.

Напряженный сюжет, глубокий психологический и социальный захват, тончайший пейзажный рисунок выделяют "Русский роман" Э. Кузнецова из множества книг, посвященных нынешней русской действительности.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Чехова сегодня любят, как природу средней полосы России. Это любовь без риска: в отличие от романов Толстого и Достоевского, требующих духовного напряжения, чеховская проза как будто предлагает спокойную и удобную позицию зрителя, соглядатая чужих жизней и судеб.

За Чеховым прочно утвердилось слава художника только, прежде и превыше всего.

В этой почетной репутации не затихает тон полемики или злорадного намека по адресу Достоевского и Толстого, бывших еще идеологами, мыслителями, "учителями жизни".

Убеждение это давнее, всеобщее, стало быть, имеющее основание. Но есть здесь одно странное обстоятельство: идеология как момент и даже объект повествования занимает в чеховском творчестве едва ли меньшее место, чем у Толстого и Достоевского.

В таких произведениях позднего Чехова, как "Дуэль", "Палата № 6", "Моя жизнь", "Дом с мезонином", "Убийство", "Огни" — идеология прямо оспаривает первенство у изобразительно-повествовательного (то есть как бы собственно чеховского) момента.

В "Доме с мезонином", например, трудно решить, что от чего "лирически отступает": на-

Майя Каганская

ВАШ ЧЕХОВ

(Глава из "Книги о Чехове")

строение, пейзаж, психология — от идеологической полемики художника и Лиды Волчаниновой, или же их мировоззренческий поединок только обрамляет эту “смесь пейзажа с жанром в духе Поленова”.

В “Моей жизни”, “Доме с мезонином”, “Огнях” идеология носит еще сравнительно невинный характер, напоминая либо тургеневский мир с его умными, рассуждающими героями, либо мир толстовской прозы, где образ мыслей персонажа способен изменить его образ жизни.

Но уже в повести “Убийство” мы сталкиваемся с огнеопасной идеологической сферой Достоевского: идея здесь — мотив преступления.

Да и вся эта чеховская повесть тяготеет к структуре “Преступления и наказания”: кризис идеи (религиозные колебания Якова), испытание идеи преступлением, наказанием (каторга) и там, на каторге — моральное очищение и обновление.

И все-таки суждение о “чистой художественности” Чехова победило в хоре разноголосых оценок его дела: “не учит, а изображает”, “не доказывает, а показывает”.

Возникает необходимость внимательней всмотреться в чеховскую сферу идей, заново произвести ее инвентаризацию...

Вопрос в следующем:

— Определяет ли чеховского героя та идеология, которую он исповедует?

Если определяет — мы окажемся в хорошо знакомых, изученных пределах классического мира, где персонаж всегда опознается по идее, а идея всегда дискредитируется или возвышается провозглашающим ее персонажем. Так у Бальзака сюжетный образ Вотрена полностью совпадает с его “идеологическим” образом, а герой Достоевского, как нам объяснил М. Бахтин, есть чистое “слово о мире”.

Если у Чехова идея и персонаж связаны аналогично, тогда между ним и предшествующими художественными системами разность не в способе бытия идеи, но лишь в меньшей — у Чехова — интенсивности этого бытия.

Идеологически значимого *авторского* слова в чеховских произведениях практически не существует, — идея живет только в персонаже, его голосе, слове, реакции на мир.

Стало быть, только персонаж и способен указать, какой из идеологий-соперниц отдает предпочтение автор.

Как же, в зависимости от выбранной персонажем идеологии, распределяются у Чехова акценты авторской симпатии?

А никак.

Идеология равнодушна к персонажу, не оценивает его.

Идея и провозглашающий ее персонаж находятся у Чехова в таких же диалогических отношениях, как Елена Андреевна и Соня в одной из сцен комедии "Леший":

Елена Андреевна: ...Нет мне счастья на этом свете! Нет! Что ты смеешься?

Соня (смеется, закрывая лицо) : Я так счастлива! Как я счастлива!

Елена Андреевна (ломая руки) : В самом деле, как я несчастна!

Соня: Я счастлива... счастлива.

Если идеология ориентирована на счастье, всемирное и всемерное блаженство, заявляя о себе, подобно Соне, "я так счастлива! Как я счастлива!" — то персонаж, ей поверивший, в своем эмпирическом, сюжетном бытии безутешен, как Елена Андреевна: "В самом деле, как я несчастна!"

И напротив, персонаж, избравший своим жизненным аккомпанементом какое-нибудь трагическое мирозерцание, с удивлением обнаруживает, что он незаконно, так сказать, недозволенно, счастлив!

Отстраненность образа мыслей чеховского персонажа от его образа жизни, слова от голоса, не может и не должна быть трактована в духе экзистенциалистского "отчуждения" личности от мира, поскольку художественные принципы Чехова вообще ставят под сомнение существование идеологии.

Рассмотренная без гипноза предшествующих художественных систем, чеховская сфера идей обнаруживает одну удивительную особенность: она *извне* дана чеховским персонажам, неподвижно-объектна по отношению к ним. Ни одна идея (как цельное мировоззрение персонажа) не возникла в чеховском мире, все идеологии взяты, что называется, "напрокат", "в рассрочку", "в кредит".

Стремление извлечь идеологический экстракт из Чехова похоже на то, как если бы мы, желая получить обыкновенную воду, сначала заморозили ее, а потом растопили. Процесс потому и абсурден, что в результате, "на выходе", хотят получить именно то, что уже есть в наличии.

И когда из Чехова все же извлекают "мировоззрение", получают правила хорошего тона, пригодные для стен общественной столовой или ателье индивидуального пошива:

“В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...”

“Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соус на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделал кто-то другой”.

Оно и понятно: если мир разобъяснен и осмыслен, остается лишь не толкаться в нем и не наступать друг другу на ноги.

В сознании чеховских персонажей культура реализуется по формуле: “кто-то-где-то-когда-то”, Достоевский легко замещается Вольтером, а в Толстом уже слышится “что-то историческое, из древнего мира”.

Чеховский персонаж обзаводится мировоззрением, чтобы почувствовать себя приобщенным к классической культуре, признаком которой когда-то и было совпадение образа жизни с образом мыслей.

Идеология для чеховского героя — инерция этой культуры, зудящая привычка, нечто вроде боли в ампутированной ноге.

Такому персонажу идея (какая бы она ни была содержательно) необходима для душевного комфорта, духовного уюта. Он не обретает идею, а приобретает ее — как вещь. Идеология определяет не духовный облик чеховского персонажа, но деталью, “особой приметой” входит в его “словесный портрет”. В контексте чеховского мироощущения “толстовец”, например, звучит как “брюнет” или “блондин” у дочеховских авторов.

Идеи “отвердели”, опредметились, стали в один ряд с явлениями быта. Здесь нет одухотворенности быта за счет “обывовления” идеи. Процесс направлен только в одну сторону: идея растворяется в быте, поглощается им без остатка.

На фоне дочеховской русской классики, с ее постоянным и звинченным противопоставлением духовных стремлений — бытовой рутине, такая омертвелость, застылость духовных форм воспринимается особенно остро.

* * *

Для того чтобы идея так прочно вошла в быт, укоренилась в нем, как это произошло у Чехова, потребовалась решительная трансформация самого быта.

Речь, естественно, идет не о повсеместном опыте массового человека и массового сознания, но о быте как объекте изображения, предмете художественного слова.

Если для массового сознания быт есть самый твердый, прочный и устойчивый уровень бытия (скажем и так: единственно возмож-

ный для массового сознания образ бытия), то для слова, для сознания художественного быт аморфен, собственного лица и образа не имеет.

Для того чтобы стать словом, быт нуждается в онтологическом осмыслении и утверждении.

Так Л. Толстой канонизировал семейно-дворянский и крестьянский быт, эпически утверждал его как бытие.

Быт у Достоевского — тонкий и зыбкий слой, непрочная грань, отделяющая трагедию от мистерии, психологический опыт — от опыта религиозного и мистического.

То вытеснение бытия — бытом, та чудовищная экспансия повседневности, которые осуществились в художественном мире Чехова, могли возникнуть только за счет резкого торможения классического слова.

Быт у Чехова — усеченное бытие классической культуры. "Малые формы" чеховской прозы — усеченные формы старой эпической письменности.

Известно, например, что А. П. Чехов не написал ни одного романа. Но Антоша Чехонте своей романической плодовитостью может посрамить любого маститого классика. "Ниночка" с подзаголовком "роман"; "От нечего делать" с подзаголовком "дачный роман"; "Зеленая коса" с подзаголовком "маленький роман"; "Женщина без предрассудков" — "роман"; "Дочь коммерции советника" — "роман", "Брак по расчету" — "роман в двух частях", "Роман с контрабасом" и т. д.

Все эти "романы", понятное дело, соотносятся не с особо почитаемым в прошлом веке жанром литературы, но с неким заурядным житейским жанром, восходящим к мещанской фразеологии: "у него с ней роман", то есть — любовь.

Но эти жанровые уточнения имеют еще один обертон, еще одну сверхзадачу — они создают пародийного двойника традиционной нормативной классификации романа. Там были — роман-хроника, комический роман, семейный роман, роман исторический, психологический и так далее. В дополнение к ним чехонтовская словесность предлагает свои разновидности романной формы: "дачный роман", "маленький роман", "роман с контрабасом".

Чехонте создает продуманную, разнообразную и разветвленную систему профанации классической культуры.

Его неистощимая сюжетная изобретательность имеет четко выраженную целевую установку: создание такой реальности, внутри

которой классический объект приобрел бы максимально загубленный, затравленный и неприкаянный вид.

Из сложившейся ситуации: кризиса классической культуры — Чехонте извлекает немалую художественную прибыль.

Он предвосхищает современный поп-арт, работающий на границе небытия материи и бытия формы, создающий эту форму прямо из продуктов распада, из тех вещей и материалов, которые цивилизация выбрасывает на мусорную свалку.

Так же строит свой мир и чеховское слово, пользуясь "свалкой" классической культуры, тем, что осталось от ее распада или не успело пойти на возведение ее храма.

Установка на профанацию классического наследия так мощна у раннего Чехова, что хрупкая оболочка сюжета зачастую не выдерживает ее: сюжет раскалывается на глазах, а персонаж становится чистым носителем профанирующего слова:

— Да что вы мне говорите! — оппонировал контрабас. — Сам я не знаю, что ли? Какой образованный нашелся! Тургенев, Тургенев... Да что Тургенев? Хотя бы его и вовсе не было".

Рассказ "Контрабас и флейта" снабжен подзаголовком "Сценка", начисто лишен всякого обличительного пафоса и "социальной направленности" и, в сущности, вообще написан ни о чем.

Персонажи позднего Чехова могут сколь угодно долго, умно и серьезно рассуждать о смысле жизни и назначении человека — на них всегда найдется управа: персонаж чехонтовский. Мир Чехова существует только в паре с антимиром Чехонте. Всякому положительному, серьезному чеховскому слову соответствует равное по величине профанирующее слово чехонтовское.

Как ни тонки и парадоксальны рассуждения героя "Скучной истории" о преимуществах французской беллетристики перед русской, они подготовлены идиотской болтовней барона из рассказа "В ландо":

"...Есть и лучше (Тургенева. — М. К.) — Жан Ришпен, например. Что за прелесть. А Тургенев... Все с иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного!"

* * *

Жанрово и хронологически разделенные, Чехов и Чехонте доказывают и демонстрируют свое тождество в драматургии.

"Мыслящие" персонажи чеховских повестей и рассказов на сцене лицом к лицу сталкиваются со своими "отцами по плоти и

духу"*, персонажами чехонтовской дьяблерии — Чебутвкиными, Солеными, Вафлями, Епиходовыми и т. п.

— "...Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!

— Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное" ("Вишневый сад").

Чехонтовские персонажи *не пародируют* персонажей чеховских. Пародия возможна только в том случае, если за пародируемым закреплена некая стабильная общезначимая ценность — идеологическая или художественная. Но такая ценность закреплена лишь за классическим Словом мировой культуры. На его-то пародийное разрушение и направлен художественный гений Чехова.

Чеховские же герои и чехонтовские антигерои его театра всего лишь *дублируют* друг друга в качестве этих пародий на классическое слово: "Сюжет, достойный кисти Айвазовского"; "Ницше... философ величайший, громадного ума человек, говорит в своих произведениях, будто фальшивые бумажки делать можно". Так говорят Вафля и Симеонов—Пищик. Но тот же перевод европейской философии на язык конотопских страстей звучит и в жалобах дяди Вани, и в патетических извержениях Пети Трофимова: "Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд..."

Разрушение классического образа осуществляется Чеховым не только с помощью гротеска, пародии или профанации. Сами контуры чеховского мира как будто повторяют мир русской классики, но с громадной разницей в масштабах, с очевидной тенденцией к измельчению, уменьшению классического прообраза.

Русская классическая культура (как и русская государственность) была экспансионистской, империальной. Русское слово подчиняло себе и старые жанры европейской литературы, и новые, еще неизвестные географические и духовные пространства. "Чухонский" север воспел Баратынский. Украинский хутор открыл для культуры Гоголь. Пушкинское, лермонтовское и толстовское слово колонизировало Кавказ. Европейский романтизм был пережит на русский лад. Религиозно-нравственная проблематика Достоевского и культурный нигилизм Толстого использовали евро-

* Слова Лаевского из "Дуэли".

пейскую словесно-жанровую культуру (от конфессиональной христианской литературы до позднеевропейского романа), хотя содержательно, идеологически они во многом были чужды, даже враждебны Европе.

Русская культура представляла собой редкий сплав государственного деяния и духовного творчества. Империя заботливо поставляла высокосортные реальности, пробуждавшие художественный аппетит молодой русской литературы. Даже неудачная схватка с Европой в Крымской войне обернулась для русской культуры выигрышем — “Севастопольскими рассказами” Л. Толстого.

Конфликты творцов русской культуры с государством тоже входили в общий ритм и образ культуры. Трагические судьбы русских поэтов в конечном счете стали таким же ее достоянием, как их собственные творения: гибельные дуэли Пушкина и Лермонтова, каторга Достоевского, отлучение от церкви и обстоятельства смерти Льва Толстого — все это формально завершенные и совершенные сюжеты, созданные как бы самим потоком русского бытия и стоящие в одном ряду с *произведениями* Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого.

Имперские бури затихают в мелководе чеховской провинции.

У самого Чехова уже не было судьбы как жанра бытия, — у него была только биография. Чехов, правда, пытался придать ей черты сходства с судьбой: его поездка на Сахалин, в сущности, имитирует канонический сюжет русской культуры: изгнание, ссылку и — как ее творческий результат — завоевание новых духовных областей. Но художественный итог поездки не очень значителен. Очерки о Сахалине не стали для русской литературы новыми “Записками из мертвого дома”, они жанрово чужды чеховскому мышлению и потому остались на периферии его творчества, больше проходя по разряду гражданских добродетелей писателя.

Чехов честно и добросовестно пытался “врасти” в классическую почву: покупка Мелихова, налаженный прочный быт со всеми чертами помещицкой филантропии (постройка школы, больницы) дублируют “дворянское гнездо” как одно из необходимейших условий жизнедеятельности русского классика.

Но попытка успехом не увенчалась: имение пришлось продать и вернуться к жизни, не обеспеченной классической традицией, — к жизни культурного разночинца, “приживала” и “подкидыша”.

У "дворянского гнезда" в чеховском художественном мире есть свой провинциальный эквивалент: *дача*.

Покупка и продажа дачи, переезд и приезд на дачу, приспособление имения под дачу, дачи — под имение — один из самых ходких сюжетных мотивов и Чехонте, и Чехова ("Дачница", "Дачники", "Новая дача", "Чужая беда", "У знакомых" и др.).

Как и следовало ожидать, чехонтовская дача претендует на свое родство с "дворянским гнездом", прежде всего, по литературной линии.

На чеховских дачах всегда тесно,людно и места не хватает — в первую очередь самим хозяевам. Засилье гостей и родственников так же "гнетет и душит" хозяев, как героев русской классики душила и угнетала николаевская реакция 40-х годов. Отчего один из чехонтовских "дачных" рассказов так и называется: "Лишние люди".

Мотив "лишнего дачника" обнаружил удивительную стойкость и почти без изменений перекочевал из чехонтовского лубка в станковую психологическую живопись позднего Чехова.

"На второй день троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу... Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было глядеть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбца.

— Ох, как мне жаль тебя отпускать, — сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. — И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер".

Свое дачное литературное хозяйство Чехов ведет по-плюшкински: из рассказа в рассказ, из "периода" в "период", из жанра в жанр, от персонажа к персонажу переходит одна и та же закуска, тот же чай, та же водка и та же "пища духовная": "Грешница" из "Лишних людей", потерянная (или пропущенная) в "Попрыгунье", пристроилась в "Вишневом саде".

"Начальник станции останавливается среди залы и читает "Грешницу" А. Толстого".

А вишневый сад, всем известно, с минуты на минуту пойдет под

дачные участки — и все возвратится на “круги своя”: икра, сыр, сардины, водка, белорыбица, “лишние люди”, “Грешница” А. Толстого...

Чехов “впадает” в Чехонте с такой же неизбежностью, с какой Волга впадает в Каспийское море.

Культура, разменная на цитаты и, вместе с водкой и калачами, вывезенная в авоське на дачу, уже не пародирует, а прямо отрицает почвенно-органический характер культуры прежней.

Дача — вот почва чеховского персонажа, земной предел его укорененности в бытии; христианство в переложении Ал. Конст. Толстого, по “Чтецу-декламатору”, — его верх, его небо.

* * *

...Четко централизованным, иерархичным было пространство русской классической литературы. Оно знало столицу и провинцию, город и деревню как идеологические, духовные полюса. Классический конфликт словно выстраивался на притяжениях и отталкиваниях столицы и провинции, разночинно-бюрократического города и патриархальной деревенской усадьбы.

Столица в лице своих хлестаковых, онегинных, рудинных и райских обольщала, соблазняла и разрушала провинциальный и усадебный мир. Провинция мстила столице созревшей в ее тиши нигилистической страстью, отрицанием всего “столичного”, то есть цивилизованного, исторически сложившегося мира.

Чехов *децентрализует* классическое пространство. В его мире столица исчезает как идеологическая значимость, и даже в географическом смысле она существует на равных правах с любым провинциальным городом:

“Ехать в Париж с женой все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром”.

“Мне положительно все равно, куда ни поехать — в Харьков, Париж или Бердичев”.

“Бальзак венчался в Бердичеве”.

Тула, Париж, Бердичев, Харьков в чеховском мире так же уравнены в пространстве реальном, как Анна Каренина и “что-нибудь историческое из древнего мира” — в сознании чеховских персонажей.

Образ России, созданный русской культурой, выстраивался как антитеза Западу; всякое значительное “здесь” переживалось

и осмыслялось лишь в оппозиции к западному "там"; хорошее или дурное "у нас" — всегда в паре с хорошим или дурным "у них".

В русском сознании антитеза "Россия—Запад" тождественна антитезам "город—деревня", "столица—провинция". "Столичный город"—Запад обольщает, смущает, развращает и разрушает, а все нравственные, духовные и даже эстетические преимущества, конечно, на стороне "провинции" и "деревни", то есть России.

Русская фумуриология покоится на незыблемой уверенности во вселенском вытеснении столицы — провинцией, города — деревней. Альтернативой такому будущему мыслится только апокалипсис.

Чехов распространяет свою децентрализацию и на эту, заповедную для русской культуры, область.

Он не просто не подхватывает эстафету "великого спора" — Европа как художественная данность попросту отсутствует в его мире, воистину "едруг пропала, будто вовсе не бывала".

И только одному жанру Чехов доверил свои европейские впечатления — эпистолярному.

* * *

Письмо по праву почитается больше фактом биографии, чем Слова, жанром бытия, а не искусства, и потому привлечение писем для уяснения проблем и закономерностей формостроительных почитается как бы и некорректным.

Но все явственней обнаруживается у Слова еще одно измерение — надличностное. Как если бы некая творческая воля, попирая обыденную дуалистическую этику ("биография" и "собрание сочинений"), равно и на равных подчиняла себе и автора, и созданное им.

В каждом индивидуальном творчестве можно проследить эти моменты надличного опыта — как будто тут действует некий сознательный принцип, заявляющий о себе *и через* художественно-словесное, *и через* биографически-бытовое.

И потому биография художника должна рассматриваться не перед его произведениями и не вне их, а *наряду с ними*.

С такой точки зрения эпистолярный жанр (переписка, попросту говоря) — если, конечно, это не литературная имитация — более

других жанров обнажает "персонажность" автора, подневольное участие в "литературном процессе", носящем его имя.

Европа, по чеховским письмам, — это какой-то сплошной Pension Russe

"Дамы, живущие в Pension Russe — это такие гады, дуры. Рожа на роже, злоба и сплетни, черт бы их побрал совсем. Что великолепно в Ницце, так это цветы, которыми здесь запружены все рынки. Масса цветов, и дешёвизна необычайная".

"Все так же тихо, как и при Вас. Впрочем, была и революция. До моего сведения дошло, что живущие в том же пансионе шпион (варшавский молодой человек оказался таковым в конце концов) и земский начальник платят Вере Дмитриевне по 9 франков, я же плачу 11. Меня это немножко покорило, я стал бунтовать, и мне сбавили 1 франк. Плачу теперь 10".

"Погода все еще чудесная, лучше и не нужно. Не приедете ли Вы? Поехали бы вместе в Монте-Карло, в Корсику, в Алжир. Подумайте-ка!"

"Сегодня я видел английскую королеву. Около лилий и пионов поставь палочку, чтобы не растоптали.

В Париже тепло, уже распускаются каштаны; и если в России будет очень дурная погода, то придется пожить в Париже подольше".

"Сегодня я уезжаю в Алжир, побуду там недели две, а потом в Россию".

"Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи, а у меня легкого платья нет, точно в Швецию приехал. Говорят, везде очень жарко — по крайней мере, на юге. ...Что за отчаянная скучища этот немецкий город Баден-вейлер!"

Чеховского Запада, как "того берега", как идеологического, литературного факта, который можно было бы поставить в один ряд с герценовскими "думами" о Европе, щедринским "зарубежным циклом" или "Зимними записками о летних впечатлениях" Достоевского — не существует.

Чехов не перебирает струны "варварской лиры", не обличает западный капитализм, буржуазный индивидуализм и мещанскую цивилизацию Запада, противопоставляя им инстинктивное братство русской общины; не вычисляет дату грядущей гибели Европы и не предлагает русских вариантов ее спасения.

Сохранилась европейская география — нет больше русской трагедии на темы европейской истории. Сообщение о "революции" в Pension Russe — пародия хорошо отработанных и обкатанных к тому времени социально-исторических антонимов: европейская революция и русский бунт ("Я взбунтовался...").

Чехов прекрасно знает содержимое идеологического багажа, который он в качестве русского писателя обязан взять с собой в

Европу, и, при случае, с "коварством и любовью" достает оттуда необходимые в таком путешествии запасные идеи: "Да, великие мы таланты, мы "всечеловеки", и из нас "прет", но умри Лев Толстой, и написать статью некому..." В славянофильско-почвеннический огород заброшен крупный камень, но он вовсе не свидетельствует о "западничестве" Чехова. Чехов не западник по той простой причине, что не видит в Западе антитезу России. В рамках этой классической оппозиции он не воспринимает и Россию. "Нет Востока и Запада нет", нет границы, потому что нет духовных границ, идеологических рубежей, преграды рухнула — и "стало видно во все концы света... с одной стороны — море, с другой — Италия; вон и русские избы виднеют... А знаете ли вы, что у алжирского бея под самым носом шишка?".

Для Чехова Европа нигде не начинается и Россия нигде не кончается: в Париже "скучно без Потапенки", и тот же Потапенко доставляет письмо из Биаррица в Лопасню.

В Нице смешат киевские профессора. Немцы безвкусны и вульгарны, но "по хозяйственной части они молодцы, достигли высот, для нас недостижимых". Тем самым предполагается, что и "для нас", то есть для русских, комфорт и порядок — высота, хоть и недостижимая, но желанная, — мысль, кощунственная и чудовищная для Достоевского: вспомните хотя бы "Игрока" Алексея Ивановича, установившего демаркационную линию между немецким и русским национальными характерами как раз "по хозяйственной части".

Можно печататься в "Cosmopolis", можно — в "Новом времени". Какая разница? Антисемитами богаты и Франция, и Россия. В Париже тепло, в России холодно: лучше пожить в Париже. В Италии холодно, в Ялте тепло — лучше ехать в Ялту. "...С одной стороны — море, с другой — Италия, вон и русские избы виднеют..."

Если судить по письмам, Чехов, живя в Европе, бредил Алжиром, как три сестры, жившие в провинции, бредили Москвой. Три сестры не попали в Москву, Чехов — в Алжир.

"Сегодня я уезжаю в Алжир, пробуду там недели две, а потом в Россию", — сообщает он М. Ф. Андреевой в письме из Рима и в тот же день действительно уезжает... в Ялту.

Здесь какая-то мистическая загвоздка, заколдованное место: из Южной Европы до Алжира добраться было легче и проще, чем из Москвы до Сахалина.

Но в том-то и дело, что в чеховском мире с его абсолютным

несоответствием внешнего, и внутреннего, явления и сути, Африка или Москва — не географическая реальная данность, но данность символическая. А природа символа такова, что он может быть только явлен, воплощен, но не достигнут. Чехов попадает в ловушку собственной художественной структуры и постоянно оказывается в положении своих же персонажей.

Классическая культура, кроме столицы-метрополии и провинции-периферии, знала еще и экзотику — тайну не освоенного, не захваченного и не захватанного культурой пространства.

В рассказе "Мальчики" экзотически-таинственную координату классического мира Чехов "одомашнил", сместил в "детскую". Сюжет рассказа прагматически оправдал недостижимость "краснокожей" Америки для русских подростков. Метафизический же "отвес" к этой реально-сюжетной недостижимости экзотического пространства — Алжир чеховских писем, Африка "Дяди Вани", Москва "Трех сестер", Париж "Скучной истории" или рассказа "В Париж!".

Для взрослых персонажей Чехова закрываются мировые и отечественные столицы, для детей — континенты, а мальчикам Достоевского еще был открыт и доступен космос: вспомните анекдот Алеши Карамазова о русских мальчиках, которые, впервые увидев карту звездного неба, на следующий день вернули ее исправленной. Ирония здесь неотличима от дифирамба: достижимость для "русских мальчиков" запредельных миров представлялась Достоевскому несомненной. И могло ли быть иначе в его мире, где люди обеды, чтобы "порассуждать о Боге"?

В чеховской провинции экзотика отменяется, ибо исход оттуда невозможен: по форме и размерам Pension Russe совпал с земным шаром.

Чехов, творивший свой мир на границах, точнее — на развалинах мира классического, использовал его структуры в качестве координат и негативных данностей мира своего. Чеховская реальность отрицательна, ибо чеховское "так есть" означает "уже нет" по отношению к классическому "так было".

— Ну-у что вы, дорогой мой, — сказал, небрежно улыбаясь, редактор некоего журнала. — Теперь другие времена. Теперь написать рассказ куда труднее, чем во времена Чехова: мастерство, техника неизмеримо выросли...

Меня осенило. Я никогда не смотрел на дело с этой стороны и поначалу подумал, что он шутит. Потом подумал, что — дуб. Потом — может быть, позже, чем следовало, — понял, что все не так просто и что... мастерство действительно выросло. Я ощутил себя обывателем, которому читать Чехова было интересней, чем Леонова или Федина. Но не об "интересней" шел разговор, а о том, как высветить модель, как ловче выкроить костюм, аккуратней поставить набойку, поскольку при разработанных схемах содержания интерес поневоле переносился в плоскость... гм, гм, формы, технологии, что ли, и корабль советской литературы шел, предельно накренившись на один бок, — но не тот бок, что нес размалеванные транспаранты - лозунги - рецепты социалистического реализма. Любопытные пассажиры были все на противоположном борту, глаза в бинокли на: "Эк, мать его, ловко природа выкроила, пригладила, организовала гладь

Александр Суконик

**МАСТЕР
И ЕГО МАРГАРЕТТА**

воды, голубизну неба, извивы берегов, зелень леса, — учишься, учишься у природы мастерству!..”

* * *

“Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о самом себе... Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал”.

Вот это фраза! Конечно же не в том дело было, что неумолимая судьба заставляла писателя работать на рынок, и не в легкомысленности Чехонте, но в том, как символически начинал свой путь в литературу последний великий русский писатель XIX века. Символически не похоже на все этой литературой культивированное и взлелеянное, порожденное и достигнутое. В то время как русская литература неуклонно шла по пути идейного напряжения, утяжеления слова, придания ему внелитературной серьезности, откровенности и на этом пути достигала невиданной высоты, явился вдруг писатель, что с самого начала опрокидывал все ценности, ставил их с ног на голову.

“Тебе интересно, как я думаю, как Николай, как отец?! Да какое тебе дело? Тебя не поймут, как ты не понимаешь “отца шестерых детей”, как раньше не понимал отцовского чувства. Не поймут, как бы близко к тебе ни стояли, да и понимать незачем. А я бы на твоём месте... Никому бы не позволил не только свое мнение, но и даже желание понять. Это мое “я”, мой департамент, и никакие сестрицы не имеют права (прямо-таки в силу естественного порядка) совать свой желающий понять и умилиться нос!” (Письмо к брату Александру.)

Еще одно откровение. Кончается эра литературы, основавшейся на совании носа, “желающего понять и умилиться” (а ведь это не против сестриц, а против Достоевского написано!) и — “в силу естественного порядка” — объявляется девальвация старых принципов и провозглашение новых. И вот формуле “не поймут, да и понимать незачем” глубоко соответствует формула литературного процесса: “писать так, чтобы не потратить дорогие образы и картины” — два полюса на одной оси. Ладно, — говорят, зрелый Чехов художественно преобразился и, скорее всего, перестал писать “машинально, полубессознательно”, но ведь в письме не только о том

речь, как плохо или хорошо писать, а о том, что творчество есть искусственная завеса, ширма, магические трюки, мастерство. "Нравится читателю в силу оптического обмана. Весь фокус во вставных орнаментах вроде овец и в отделке отдельных строк. Писать можно о кофейной гуще и удивить читателя путем фокусов" (письмо брату по поводу рассказа "Счастье").

* * *

Чехов подарил соцреализму эликсир жизни, формулу мастерства — о том, как надо в любой момент быть готовым описать чернильницу (или пепельницу?). Подумать только, свести искусство на уровень описывания чернильниц-пепельниц! Потерять духовный кругозор, свойственный русским писателям, превратить святое искусство в технологический процесс! И вот следствие: то, что произошло у нас со словом. Чего же ожидать, коль скоро содержание было позволено отделить от формы, а затем фальсифицировать и девальвировать его, — как делалось у нас, когда сюжет спускался по разнарядке и словесная форма ставилась на службу советской пропаганде?!

* * *

...Нет, нет, несомненно, здесь было что-то закономерное: как только акции русской культуры пошли вверх, чеховские акции пошли соответственно вниз. То есть опять же, как понимать слово "культура", — но наступало время, и теперь вы научались понимать его правильно. Правильно — это значит согласно правилам, не так ли? То есть некоторым объективным истинам, которые объективней человека? Вот вы и тосковали по правилам, достаточно побросало по волнам советской неправильной жизни (в которой единственные реальные правила — блат, горизонтальная товарищеская порука и еще вертикальная мафиозная семейственность), достаточно девальвировали на ваших глазах слово. Вы вырывались из заколдованного круга, шли вперед, открывая позади себя русскую — главным образом идеалистическую — мысль. Теперь через статьи и книги Вл. Соловьева, Розанова, Мережковского, Бердяева раскрывался культурный контекст книг, которые раньше читались с точки зрения "интересно". Теперь вы узнавали во всем объеме мощь Достоевского и Толстого... Теперь вы научались понимать

цену Чехову. Теперь приходило время рассчитаться с Чеховым, и не как-нибудь, а окончательно: на вашей стороне ведь были люди, которые знали толк в слове, идее, мысли, объективной истине... уж с их помощью!..

* * *

Сначала все шло хорошо. Первым делом вы замечали, что во времена живых слова и культуры к содержанию чеховского творчества относились с сомнением. И не только "свои", но и "чужие" — материалисты, плоские социологические критики, духовные зачинатели соцреализма. То есть не только Мережковский с его ах-замечательной статьей ("Грядущий Хам", где поделом, поделом выявляется, что Чехов и Горький — интеллигентские писатели, а вот Толстой и Достоевский — поднимай выше, народные), но и Михайловский, указывающий, что у Чехова нет истинного мировоззрения, которое единственное способно уязвить глубинные язвы общества и возбудить благородные чувства справедливости.

Дальше и того лучше. Злорадно вы подмечали, что всегда интересней выходило о Чехове, если с критическим прищуром глаз, с ограничением о нем. А вот когда пытались необъятно-положительно, то выходили сладкий сироп, сентиментальная бодяга. И потом еще такая штука: формальную сторону, чеховское мастерство, все хвалят почти одинаковыми словами: чеховскую деталь, пейзаж и так далее. Но содержание, если и находят, то каждый свое: то пантеизм, то импрессионизм, то натурализм, то лиризм. Что означает — получайте по заслугам, г-н Чехов, сомнительно у вас насчет содержания. И даже если о форме, то — отдельностями, частностями: суждения, нарезанные лапшой. Детализированные — и только так получается. Чехов — весь излапшен, увековечен на уровне тех самых "фокусов", которые признаются его знаменитыми реалистическими находками, подсмотрками жизни.

* * *

Однако что же говорили *учителя*? То есть не отрицательное, а положительное? То есть, неправда, вы не хотели, не ждали от них положительного, цельно-полагающего, потому что не стоил Чехов, чтобы снизошли... Но, увы, снисходили, и не только-то, но и *восторгались* (ошибка! слабость!), и... и каким образом восторгались!

“Тоска по Богу, по смыслу жизни, которого нельзя найти в ее процессах и завоеваниях” — Бердяев о “Скучной истории”. Тот самый Бердяев, который раскрывал вам Достоевского? Но там было искренне, а здесь безошибочно чувствуется отписка и словесная халтура. И это бьет по голове. Тревогой екает где-то в середине: на что-то нехорошее вы наткнулись, от чего теперь не избавиться. “Он был поэт и, как всякий поэт, пессимист для настоящего и великий оптимист для будущего” (Гершензон). Час от часу не легче: сговорились они, что ли? Да ведь это соцреализм чистой воды — оглушение от страха и несвободы, и вот вы принимаете болтовню чеховских героев о будущем *буквально*. Но отчего — страх? “Верил ли Чехов в эту сверхчеловеческую, все преобладающую силу Добра, которая имеет одержать победу в отдельной человеческой душе и в совокупном человечестве, или был пессимистом во всем огромном и ужасающем смысле этого слова?” — вопрошал о. Сергей Булгаков в статье “Чехов, как мыслитель” и тут же, вопреки документированной очевидности (Чехов в письме к Дягилеву: “Веру я свою давно растерял”), спешил уверить, что верил, верил, то есть начинал верить А. П. Чехов, иначе какой же он был христианский мыслитель, а если бы не был христианский мыслитель и верующий человек, то как бы мог быть великим русским писателем?

Вот она, дилемма, вот он, пункт. Либо Чехов не был великим русским писателем (всего лишь “интеллигентским”, не “народным”), тогда не нужно быть “мыслителем”. Либо... тогда начинаются затруднения. Затруднения в том, что, если даже идеологическая лихорадка помогает вашему чувству эстетического оставаться равнодушным к “Даме с собачкой” или “Черному монаху”, теперь, по прошествии добавочных каких-нибудь семидесяти лет, невозможно отрицать величину Чехова, зная его влияние на мировую литературу, зная, насколько он революционизировал жанр рассказа, упростил язык и так далее. То есть, по сути дела, вы, видимо, сами того не сознавая, хотите все-таки, чтобы учителя сумели справиться с Чеховым при помощи позитивного подхода, утвердив еще раз царственное положение мысли (идеи, философии) над эстетикой (“интересно”), найдя Чехову объяснение, должное место в мозаике событий в мире.

А вместо этого обнаруживаете крушение. Обнаруживаете, что язык, словесная структура ваших учителей в столкновении со словесной структурой Чехова превращается в набор стереотипов,

начинает звучать совсем как звучат речи чеховских персонажей, при помощи которых автор высмеивает людей сферы идей. Но почему?

...Замечаете тут вы еще любопытную штуку. О. Сергей Булгаков требует, чтобы Чехов был христианским мыслителем, а Михайловский – чтобы социальным. Внезапно до сих пор непримиримые стороны начинают смеживаться близнецами: и те, и другие под содержанием имеют в виду мировоззрение, в котором индивидуальные человеческие критерии понимаются ограниченными и относительными по сравнению с предельностью объективной истины (в одном случае пара Добро и Зло, Бог и Дьявол, в другом – социальная несправедливость и идеальное общество). Вот в этом Чехов настолько в стороне (далее) от Михайловского и Булгакова, что по сравнению с ним они выявляются одинаковостями. Но если дальше, то не кроется ли в этом залог некоего содержания?

* * *

В пьесе "Чайка" устами писателя Тригорина описывается творческий процесс. Сначала Тригорин говорит о "подсматривании жизни": "Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль... Ловлю себя и вас на каждом слове и спешу запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится!" Затем Тригорин говорит о другом: "Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, тут бы и отдохнуть, забыться, ан нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро – новый сюжет, и уже тянет к столу". Но к столу заставляет вернуться причина: "чугунное ядро" содержания, которое ворочается в голове, приходит изнутри, в то время, как подсмотренные в жизни детали извлекаются из кладовой как следствие и по мере необходимости используются в ином контексте, чем тот, в котором они были "подсмотрены".

Иными словами, знаменитая чеховская деталь, которая признана единодушно главным достоинством его поэтики, на самом деле в структуре творческого процесса признается второстепенностью, "отделкой отдельных строк", "фокусом", за которыми стоит "чугунное ядро" содержания, идеи? "Степной субботник нравится мне самому своею темой, которую вы, болваны, *не находите* (разрядка моя. – А. С.) . Нравится читателю в силу оптического обмана.

Весь фокус во вставных орнаментах вроде овец и в отделке отдельных строк. Писать можно о кофейной гуще и удивить читателя путем фокусов". Вот какова мысль Чехова о рассказе "Счастье". Мысль, которую я не привел полностью вначале, и совершенно сознательно. Здесь — мысль Чехова о своем творчестве *целиком*; но всегда оказывалось достаточным говорить о чеховском творчестве, ограничиваясь кофейной гущей, так что — зачем нарушать традицию? Тем более что Чехов отнюдь не желал, чтобы кто-нибудь попытался проникнуть в его мысль, и его мысль, кроме всего прочего, еще в этом состояла.

...А между тем здесь совершенно четко указаны два "нравится": одно — чеховское, собственное, другое — "болванов", обманывающихся фокусами, — но в каком плане? только ли удовлетворяющихся "интересно"? о, нет, пытающихся разгадать, как делается фокус, придумывающими "содержание": импрессионист, подглядыватель жизни, мастер, религиозный мыслитель и так далее...

* * *

Лев Шестов в статье "Творчество из ничего" прозорливо и одиноко раскрыл уникальность мировоззрения Чехова в его принципиальном отрицании абсолюта за объективной истиной, высмеивании *идеи* как таковой. Статья такого же ранга, как "Великий Инквизитор" Розанова, однако розановская статья породила традицию понимания Достоевского, а шестовская практически забыта. Но почему? Не потому ли, что русская культура расцветала в системе координат объективной истины и не могла даже помыслить себя вне жесткой идеологической структуры?

До сих пор русские писатели, как бы проникновенно ни изображали человека, все равно глядели, не теряя знания сторон света, как бросает его в безбрежном океане жизни. Но Чехов выходил *вместе* с человеком в океан, и вместе их крутило, бросало во все стороны, берега то появлялись, то исчезали, небо то открывало звезды, то скрывало их за тучами, иди пойми, где север, где юг. Все относительно, кроме человека. Все относительно, кроме недоверия и презрения к тем, кто стоит на берегу и утверждает, что берег недвижим, между тем как мы-то знаем, что *никто* не стоит на берегу, все в океане, их берег такая же выдумка, как все остальное.

...И все-таки, видимо, учителя были правы. Чеховское мировоз-

зрение было предвестником смерти русской культуры — а кто способен взглянуть смерти прямо в глаза? В этом писатель соглашался с ними: для него тоже не было разделения между объективной истиной системы координат Добро-Зло и Россией. Чехов был русский Кьеркегор, и, как Кьеркегор не любил Гегеля, Чехов не любил Россию. Спустя двадцать лет после письма о том, что люди не могут понять друг друга и вообще понимать “незачем” и следует этому пониманию сопротивляться, Чехов в “Острове Сахалине” очень подробно и с явным восхищением описывает обычай японцев говорить приятные, хотя и чисто формальные, противоречащие так называемой “правде”, вещи собеседнику. И на конкретном примере показывает неизмеримое превосходство японского солдата над русским коллегой, неуклюже ввязавшимся соревноваться с ним в этом предмете. У русских выходит только рабская лесть, потому что они лгут только с целью — добыть ли что-нибудь, умилиться ли чем-нибудь; в системе их мировоззрения ложь выходит заведомо отрицательна. В системе же мировоззрения чеховских японцев ложь — сознательный прием в разговоре равного с равным, она направлена не к личной выгоде, но к выгоде собеседника, и потому выходит вежливостью (еще один важный термин в чеховской философии, наряду с порядочностью). Ничто не было так враждебно Чехову, как русская погоня за объективной истиной, он не видел в ней ничего, кроме фальши, претенциозности, распушенности, хамства, аморальности, то есть набора субъективных черт, только прикрывающихся высокими словами.

Объективная истина не существует. Иначе позиция чеховских японцев была бы аморальна, что недопустимо для моралиста-стоика Чехова. И — наоборот — русский человек неизлечимо болен объективной истиной, иначе он не был бы так безнадежен для Чехова. “Их штербе”, — сказал он свои последние слова по-немецки вместо: “Я умираю” — по-русски.

Пик русской культуры — Достоевский, поскольку и писатель, и самый крупный философ. Ключевой момент в эстетике Достоевского — диалог, Бахтин достаточно ясно показал это. Не только объективная ценность, интересность того, что произносится в диалогах у Достоевского, велика, не только Достоевский через форму диалога преподносит нам философическую объективность “Легенды о Великом Инквизиторе”, но и самый диалог у него служит способом перехода от субъективного (отдельных “голосов”, по терминологии Бахтина) к сложному многоголосью объек-

тивной... (ладно, по крайней мере, в какой-то степени постижимости объективной) истины. Между тем вот что делает с диалогом злой мальчик Чехов, когда к герою рассказа "Моя жизнь" приходит в гости доктор: долго сидят, обсуждают всечеловеческие проблемы (ни дать ни взять Карамазовы Алеша с Иваном собрались), а потом доктор украдкой смотрит на часы, и герою ясно, что вся-то травля затеяна с целью дожидаться сестру героя, с которой у доктора роман. Чехов иронизирует над диалогом, уничтожает его, сводя функцию слова к дымовой завесе, средству достижения внесловных целей. Слово девальвировано, и мы должны научиться читать *между строк* (в чем, собственно, и заключается знаменитый чеховский психологизм и в чем позже заключалась советская так называемая общественная жизнь).

"Извините и простите меня, старого старикашку и нелепую душу человеческую", — произносит странно герой, похожий на героя Достоевского. Вот эти характерные "шки", "чки" у Достоевского в речи "придавленных", по определению Алеши Карамазова, людей служат нарочитому вывертыванию, изголению, но к чему ведут? К провокации с целью установить межчеловеческий контакт. И у Достоевского контакт устанавливается, и посланный сигнал, как бы гротескен и карикатурен ни был, отразившись от других персонажей, вернется к первоначальному объекту, осветит его внутренним светом серьезности.

Но это не Достоевский, это цитата из первого чеховского рассказа "Письмо к ученому соседу". Слова принадлежат войска Донского отставному уряднику из дворян Василию Семи-Булатову, и есть пародия не только на русские подхалимство, невежество, заискивание, но и стилистическая пародия на Достоевского: чеховский прием заключается в остановке "сигнала" на полдороге (письмо безответно, диалог замещен монологом) и, следовательно, превращении персонажа в застывшую карикатурную маску.

Но мы не станем останавливаться на литературоведческой стороне дела. Поскольку известно, что каждый великий писатель на Руси играл роль пророка и накликал судьбы, то заполним этот пробел для Чехова. Как злая фея Барбарос из "Спящей красавицы", Чехов разыграл русскую культуру, подкинув ей самого себя в качестве пресловутого веретена. И с этого мгновения все, что ни прикасалось к нему, до сих пор живое, рассыпалось в прах, превращалось в карикатуру. То есть, если бы русская культура сумела бы со своих позиций объяснить и прояснить позицию Чехова, тогда

его карта была бы бита, а русская культура продолжала бы казаться бессмертной. А коль скоро вышло наоборот, то должно было случиться что-то "оборотное", и оно случилось — в воплощении наяву теории "мастерства", в особой отныне жизни духа.

Что ж, через десяток-другой лет после тихого, никем не оцененного столкновения с айсбергом-Чеховым русская культура картинно (всеочевидно) гибнет в столкновении с революцией. Пришла, видимо, пора. Сама очертила круг своей ограниченности, сиречь смертности. То, что приходит ей на смену между тем, отнюдь не новая идеология, система координат или новая серьезность. Не в этом тайная пружина дела, а в *отказе* от идеологии, в переходе на рельсы чеховского мировоззрения со всеми столь характерными, присущими чеховской эстетике чертами — в том числе погруженности в субстанцию несерьезности. Вот для чего на самом истинном уровне делалась революция, и отныне, чтобы оказаться устойчивой, она должна *пародировать* идеологию, имитировать содержание, "что", слово.

* * *

Вначале, впрочем, кажется, что все не так. Льется кровь, борьба до последнего, брат на брата, сын на отца. Голод, холод, революционные декреты. Где же тут пародия? Ленину докладывают, что в уездном городишке четырнадцатилетняя девочка изрезала его портрет, и вождь велит отпустить девочку, но *продолжать следить* за нею: девочку он боится упустить или серьезность тона? Опять же революционное искусство собирается сбросить с корабля современности — и ценой самых серьезных, радикальных мер — всех, кто с ним не заодно, пусть и задним числом, таких, как гнилой пессимист и декадент Чехов...

* * *

...Но каплет, каплет время, и как-то незаметно оказывается, что с корабля выбрасывают самих руководителей революционного искусства, а Антон Павлович переживает, переживает их, и чуть заметно кивает удовлетворенно, когда к власти приходят Иван Бездомный и Михаил Александрович Берлиоз. В наступающем царстве соцреализма воцаряется некий новый тип эстета, советский Мастер.

Разумеется, эстет: поглядите, как его корежит, когда случается

ему попасть в сферу свежего "что": "Ах, ах, ну что за негармоничная плакатность, дешевая спекуляция, мелкобуржуазное критиканство! Обратитесь назад, посмотрите, как наши классики писали! То есть не буквально обратитесь, не пытайтесь перенимать буквально их "что" — ведь все это относилось к проклятому прошлому, — но именно "как" учитесь, художественности их непревзойденной!"

По ошибке принято называть советского Мастера еще приспособлением, бездарностью, ловкачом без совести и морали, негодяем, запятнавшим благородное имя русского писателя, трусом и предателем, посылавшим коллег на расстрел и в лагеря. Но я уверен: сколько бы ни сделал он подлостей, на сколько бы компромиссов ни пошел, все-таки он был одиноким и непризнанным мучеником: почему, почему, почему его мастерство не вызвало в людях тех же эмоций, что... чеховское? (Ведь это установленный факт, что мастерство учителя давно превзойдено.) Только из-за якобы другого, якобы правдивого, якобы жизненного "что"? Пфф, какое в таком случае глупое создание человек (даже наш, советский)! Неужели он всерьез принял лозунги о смелых буреви́стниках, несущих смелую правду? Ведь мы выставили ему этот капкан, хорошо зная, что не выдержит человеческая натура фальшивки, убежит от идеологической начинки, а так как никакой другой культурной традиции ей привито не будет, то, как дикий, бросятся она на блеск дешевых бус: ловко сколоченный сюжет, чувствительную любовную историю, комедийную ситуацию (разумеется, в рамках конфликта лучшего с хорошим) ...

В таких нелегких рассуждениях проводил дни Мастер, борясь на два фронта против двух "что"; со скрытым иезуитством против дореволюционной русской литературы и в открытую, не стесняясь выражений, с современной зарубежной (ударим дружно по всяким хемингуэевщинам и прочим ремарковщинам). И не знал, бедный, что лучшие годы его жизни, то есть годы, когда, по крайней мере, ни он, ни кто другой не сомневались в незыблемости и неизменности царствования единой линии, шли к внезапному закату.

Между тем они действительно шли к закату. Наступил 53-й, а там и 56-й подкатил, и на фронте искусств произошли блошино-грандиозные перемены. Все внезапно пошатнулось, исчезла четкая руководящая линия, и кашеева цепь, намертво наложенная на "что", поползла размоченными баранками. Внезапно Мастер Мастерович почувствовал себя пожилым человеком, которого молодые, напористые спихивают на пенсию. Многотрудный, он пытался мно-

гое делать, но фортуна уже повернулась к нему не тем местом, и, что бы им ни предпринималось, только шло на пользу восходящей звезде Нового Мастера, то бишь служило рекламой бешеной славе молодых. Вот что приводило бедного старика в уныние: он чувствовал, что эти ребята не меньшие боевички, чем он сам был в юности. И он был в значительной степени прав, потому что молодой Мастер, что пришел ему на смену, хотя и ввел в обиход чеховские определения "порядочный" и "либеральный" (такой-то, учтите, порядочный человек, он за пятнадцать лет ни одного доноса не написал... Хотите напечататься у Кочетова? Не советую, хотя, конечно, дело хозяйское...), однако на пресловутого мягкого чеховского интеллигента походил в жизни куда меньше, чем на фон Корена из "Дуэли". Он был деловит, четок, энергичен и предельно политичен. Нужно было из политических соображений (не из страха, не самостоятельности или эгоизма, Боже упаси) пхнуть умирающего великого поэта, он и пхал; нужно было покаяться и понести тот самый Запад, по которому он так млеял и, попав куда, разыгрывал из себя свободного художника, он и поносил. Откровенничая, он говорил, что сам себя по способу обезьяны за волосы на верхушку дерева вытащил, и это была правда. Он быстро организовал круговую поруку, крепко сцементированную столичным либерально-интеллигентским общественным мнением.

* * *

Ирония происходящего состояла в том, что бедный Мастодонтыч (по старой привычке пользоваться языком-перевертышем) атаковал Нового Мастера на фронте "как", а вовсе не "что": возмущался искажением русского языка, неблагозвучными рифмами и проч. и проч. Он был мучеником формы, а потому несомненно полагал, что если выразит недовольство содержанием, то никого всерьез не тронет, мол, того и ожидали от старого ретрограда, но если ударит на уровне мастерства (как равный равного, как звезда с звездой говорит), то тут-то приштопает, заставит уважать себя и таким образом уязвит, уязвит. Однако он бил по пустому месту, мимо цели, потому что не понимал специфики Нового Мастерства. История разыграла зеркально сюжет смены литературных школ XIX века, когда на смену манерности классицизма и романтизма* пришла на-

* Использовано сравнение А. Терцом соцреализма с русской литературой XVIII века.

туральная школа, разыграла послушно — в марксистском же государстве! — по Марксу: в первый раз — серьезность, второй раз — фарс. Кто ж виноват был Мастодонтовичу, что он настолько превратил свято место в пустырь, что теперь ни о какой серьезности нельзя было и помыслить? Бедолага так был смущен наступившим (по его меркам) хаосом, что искренне начинал доказывать, насколько уже *было* когда-то все, что открывали напористые ребяташки. Ха-ха-ха, ну и что, что было, то-то и хорошо, то-то и нужно! В то-то и состояла соль момента — в достоинстве использования перелицованных, с чужого плеча форм, поскольку они были не совсем с чужого плеча, — забытых ли, забитых ли (в тюрьмах, в лагерях) предков, запрещенных иностранцев, — и таким образом становились разменной монетой политического намека, общего взаимопонимания на уровне известной дули в кармане. Мастер Мастодонтович когда-то, ничуть не сомневаясь в верности интерпретации, понял чеховскую формулу мастерства, как ключ к выхолащиванию содержания, но, оказывается, ее можно было повернуть на сто восемьдесят градусов — и с тем же ироническим результатом. То-то и характерно было, что персонажи Молодого Мастера в один момент казались романтическими персонажами соцреалистического плаката, в другой — знакомыми жлобами, циниками с соседнего двора, но это только полдела, поскольку они были “что”, человеческий материал, но действовали в обстановке полностью искусственной, ну там бары, Прибалтика, коктейли, драки а-ля Хемингуэй (форма, то самое “как”), и так-то, на таком уровне осуществлялось теперь пресловутое единство формы и содержания.

* * *

И дальше шло время, и на смену новым мастерам приходили еще другие новые, тут некий славянофил появлялся, который сегодня открывал вам Розанова и Леонтьева и объяснял, что настоящих-то людей сажали не в тридцатые, а в двадцатые годы, а назавтра наш славянофил призывал подчиниться Брежневу ли, Михалкову ли, — ведь *власть*, а? не так ли следует поступать согласно славянофильской доктрине, то есть комфортабельно устроиться при советчине, приняв ее за традиционно русскую *власть* — и вдруг оказывался куколен этот мастер а-ля Рюсс, не было в нем жизни, только повторял механично-ловко мысли, вы-

чувствованные в прошлом столетии: ах, если бы он действительно сам дошел до идеи целования Михалкова в зад!

Вот как обстояло дело, и, оглядываясь вокруг себя, вы замечали одну чисто внешнюю особенность. Любопытная штука происходила рано или поздно с людьми, которые как раз наиболее характерно олицетворяли собой тот или иной период нашего столь увлекательного периода просыпания, раскрепощения, бурного и ускоренного развития событий. В какой-то момент их лица... и даже не только лица, но движения, одежда застывали в некоей законченности движения, в олицетворении самого себя, и так уж и оставались.

Тогда современная русская жизнь начинала казаться вам замысленным кем-то спектаклем марионеток, а не просто жизнью. Тогда вы поднимали кулак и грозили несколько неопределенно, совсем как чеховский интеллигент: "Это ты, проклятая Россия, все задумала! Это ты сварганила революцию, которая хитро отличается от всех предыдущих революций своим полным отказом от объективной истины! Предыдущие революции тоже брали цену кровью и даровали торжество униженному невежеству, но при этом хоть привносили свежую кровь варварства, залог новой культуры, основанной на новой объективной истине, на идее, которая вела к новой муке неравенства и новой жизни. Но ты нашла путь навсегда избавиться от неравенства путем фальсификации самой идеи "объективной идеи" по чеховскому совету, чеховскому предсказанию, и вот ни жестокость режима, ни несвобода, ни лагеря — ничто, ничто не способно восстановить серьезность жизни, таинственным образом позволяя сегодняшней серьезности серьезно осуществляться всего только на уровне гневного сарказма (цепь отрицательного тока истинной художественности: Солженицын—Терц—Н. Мандельштам), то есть рефлексии, отрицания. Но как только кто пытается дотянуться до положительной идеи, так немедленно превращается в карикатуру: то ли выхолощенную, марксистскую, то ли муляжную, славянофильскую... И тут же художественная форма выдает — высказывает повторением давно открытых форм... Заколдованное кольцо, странное время, проклятое время..."

ЛЮДИ И КНИГИ

Израиль

ПЕРЕПИСКА ГЕНДЕЛЕВА С ЛЕМУРАМИ

(Михаил Генделев. "Послания лемурам". Иерусалим, 1982)

Упреждая разбор интригующих взаимоотношений, сложившихся у Генделева Михаила с лемурами, отметим: лучшая и ключевая вещь книги — это поэма "Охота на Единорога", и "Охоте" этой суждено, по-видимому, оказать влияние на российскую словесность — подсоветскую и зарубежную поэзию, да, пожалуй, и на прозу.

На что, собственно, сдались Генделеву эти амуры, лемуры и другие единороги? — тем паче, что советский читатель, не искушенный в мифозоологии, принимает последних — единорогов — за субтропическую разновидность скота: крупного, рогатого.

Дабы внятно ответить на вопрос недоумевающего читателя, отметим: Генделев — выходец из северной столицы северной империи. Ленинград — город еще более нарочитый, чем Петербург, и советская нарочитость здесь паразитирует на петербургской. Тематически ленинградская поэзия подразделяется на: а) плаксивую псевдовеличавость ностальгии и б) придурковатый псевдообериутизм бытописи. (Есть, впрочем, еще Бродский — посюсторонний ленинградец; но этот специализируется на учете реалий умирающего века. Его отношения со временем имеют вполне семейный характер: он оценивает время, как часовщик. Есть также Лосев, Елена Шварц, Кривулин, Стратоновский. Есть наконец Волохонский.)

Между Медным всадником и Ульяновым, гарцующим на броневике, планирует ленинградская муза. При всей кажущейся независимости ее вида — это не прогулка. Это работа...

Когда ленинградец — поэт, он уходит от и из Ленинграда. Вот Генделев и ушел. Его первую книгу, написанную "там", следовало назвать не "Въезд в Иерусалим", но "Выезд в Иерусалим", ибо в ней сполна представлены все томные аксессуары ленинградской поэзии, а ее главный лирический герой — город, знакомый если не до слез, то до зубной боли. Однако сам выезд из Ленинграда означал решительный и сознательный разрыв Генделева с этой кезирической, насквозь сентиментальной традицией. Ленинграду Генделев предпочел Иерусалим. На деле — один нарочитый город сменился другим, еще более нарочитым. Так жизненная, внешняя судьба автора послушно пошла по следу его поэтики, упираясь в те же тупики и проваливаясь в те же пустоты. Единство судьбы и поэтики обрело новое литературное воплощение, и пустотность стала стержневой темой (не содержанием!) его творчества. Единственной реальностью для Генделева остается сама поэзия. Но при этом она превращается в метафору нуля, небытийности. Что же остается? Остается игровой пафос разрушения,

дискредитирования любой действительности Бытия — только сама игра, в которой обнаруживает себя, по слову Б. Эйхенбаума о Гоголе, “веселящийся дух художника”. Следует признать, что подобная позиция достойна, в конечном счете, уважения. Как ни парадоксально, она отвечает действительному положению вещей: и статусу поэта в сегодняшнем мире, и статусу ленинградской — равно эмигрантской — поэзии, и статусу русскоязычного поэта в Земле Обетованной.

Неудивительно, что поэтика Генделева абсолютно антисимволична. Механизм ее, грубо говоря, таков. Внешний мир, вовлекаемый в орбиту творчества, осознается, вследствие естественной эстетической и языковой установки, в качестве набора символов. Затем одомашненные эти символы превращаются в домашние аллегории. Аллегии же, как известно, отличаются некоторой самостоятельностью знака, бытующего вне своего условного смысла. Это тривиальное обстоятельство широко используется автором. Аллегорические фигуры, вроде Змея, Тельца, Льва, парадоксально выступают у него в своем “природном”, собственном зоологическом значении. Выстраивается новая сюжетность (аллегии низводятся к мотивам зверинца), которая, однако же, немедленно компрометируется, ибо дается в нарочитом соотношении с привычным, традиционным восприятием образа. Иными словами, вещьность уничтожает аллегоричность, а аллегоричность — вещьность*.

И ляжет гад с ягненком от волчицы
под знаком сим терзая требуху —
как содомийскому четвертому греху
у братьев-близнецов не приключиться!

Как видим, знаки библейского астрологического “зверья” вступают между собой в новые, не предусмотренные никаким канонам, сюжетные отношения. Несовпадение этих планов — превосходный предмет для острой поэтической игры:

и лев — то бишь светило знака льва
луну-единоверца задерет...
А, собственно, что зверя разъярило?
На самом деле все наоборот —
играем мы по правилам звериным
и мир трубим в еще растущий рог.

Более того, используются не только аллегии или олицетворения, но и любые клишированные знаки культуры — в частности, историко-иллюстративная живопись. К примеру, “Утро стрелецкой казни”.

* “Аллегория времени есть вода”, сказано в одном из его стихотворений. А затем описывается реальное движение реальной воды. Тот же прием охотно применяется по отношению к метафорам, которые превращаются у Генделева в микросюжеты: реализация метафоры комически контрастирует с ее употребительным значением. “Была живой, а мертвой стала — Аглая! как ты низко пала — что опершись на локоть, не привстать!”

Но убедимся, сколь согласно спит зверье.
стрелец и дева залегли в хлеву.
В хлеву — известно — девы безотказней.
А поутру, в виду стрелецкой казни —
повествование короче на главу.

Каламбуров такого рода у Генделева великое множество. Приведу несколько, взятых наугад: "Пахнет сладостно труд врага, запасенный впрок"; "Стечение Тибра с Ефроном"; "Она хранила меж стоических грудей мятежный дух". Поскольку всюду дается самоуничтожение, взаимное осмеяние словесных смыслов, сталкиваемых друг с другом, употребительный генделевский прием — каламбурное расслоение словесного штампа. Оно диктуется иногда интересом автора к этимологической основе слова ("Мы андрогин. Нам трудно по полам"), но чаще — теми конструктивными возможностями, которые таят в себе идиомы, эти сгустки потенциальных сюжетов. Книга Генделева, кстати сказать, рассчитана не на честного, а на квалифицированного читателя, однако, я думаю, и этому последнему будет нелегко заметить, что стих "в уши вошел караван с грузом иголок" представляет собой ни что иное, как сюжетное обыгрывание затертого евангельского изречения насчет верблюда и игольного ушка.

Отсюда и другая примечательная черта этой поэзии: в ней решительно отвергается знаменитое правило о предельной точности поэтического слова. Генделев наоборот постоянно озабочен поисками наиболее неточного, приблизительного и условного образа. Его слова — это лицедеи, с торопливой легкостью перебегающие из одного смыслового поля в другое, противоположное. Примеры? Их сколько угодно.

Стояла на верху холма одна
На холме — на пустом — ветру.

Попробуйте-ка установить, к чему относится слово "пустом" — к холму или к ветру? Так обстоит дело практически со всеми образами. Они, в сущности, не визуальны — поэзия Генделева ориентирована на слуховое восприятие. Впрочем при чтении следует обращать внимание и на графическую симметрию, "бабочку" танцующего текста. Это вовсе не значит, что автор не способен создать яркие визуальные изображения. Напротив, великолепны такие его "зрительные образы", как "часов пробивается стебель в петлице вокзала", или о "сове-иронии", что "тушки теплые приносит на обед, то в скобках клюва, то в когтях кавычек".

Но если уж дается пейзаж, то конечно это "пейзаж луны под небесами сна"; все условно, у каждой вещи двойное тройное, четверное значение, любая тварь — оборотень, призрак. Соловей, к примеру, оборачивается попугаем, туз — валетом; мир только прикидывается реальным — "холмы имеют горный вид холмов", и доверчивый стихолоб, упорно принимающий генделевский мир на веру, обнаруживает себя включенным в выморочный лунный ландшафт. Подлинная реальность вовсе не там: "картина нанесена на веки, с той стороны, где красная сторона": стало быть, изнутри. Что же до внешней, "черной" стороны мира, то ее удел — исчезновение, гибель. Втягиваясь в водоворот повествования, реалии внешнего, взаврадашного

мира стремительно разрушаются, распадаются, разваливаются: пространство — ноль, стягивающая свистящий ветер дыра, ориентиры утрачены, верх и низ тождественны.

и вид паденья в небо ищут птицы,
то вверх, то вниз свисая головой.

С временем происходит что-то невообразимое. Оно течет вспять, взрывая причинно-следственные связи, и попросту исчезает:

захватывает дух —
но прежде, чем его испустит тело —
оно совсем было уже перелетело
из лап могильщиц в лапы повитух.

“Единорог” — характернейшая вещь Генделева — явился, как мне кажется, естественным моментом развития этой основной темы. Мифологический этот зверь, Единорог, как правило, неуловим — у Генделева он неуловим вдвойне, ибо представляет собой олицетворение внешней реальности.

Считаю необходимым отступление историко-литературного свойства. Дело в том, что поэзия Генделева не имеет аналогов в истории русской литературы (разве что Вагинов?) Ее прямой источник — барокко, коего русская литература не знала. Именно к барокко восходят основные приемы (характерны, например, включение макаронического стиха, графическая структура текста) и основные сюжеты Генделева. Охота, игра — шахматы, кости, карты, — война с неверными, зверинец — все это темы барокко. О барокко напоминают и тематика гобеленов, и сюжеты картин, рисунков и прочее. Другая традиция, соотнесение с коей явно ощущается у Генделева, — традиция театра дель-арте, театра масок. Впрочем, суть этого второго родства, по моему мнению, состоит не в “памяти жанра” — о ней в данном случае говорить не приходится, — но в общности изобразительных средств. Внешний мир — собрание масок; лица прячутся во мраке (еще одна из сквозных тем: “сокрытолицые всадники”, “волны не позволяют разглядеть лица”) — вместо них из тьмы проступает алебастровый слепок, маска (смотри, например, одно из лучших стихотворений в книге — “Бельведер, или трактат о запрете на изображение живой природы”). Имен нет. Персонажи анонимны. Напомню, что в “Охоте на Единорога” действует (или бездействует) единственный герой, все остальные — его ипостаси. А ось, вокруг которой вращается эта карусель, а центр этого шествия по кругу — сам автор, двоящийся, умножающийся в бесконечных зеркальных лабиринтах. Его поэзия — не “рукопись в бутылке”, не послание далекому потомку, — это письмо, брошенное в зеркало.

Столь категоричному утверждению противоречит, казалось бы, последнее стихотворение книги. Поклонники “гражданской поэзии” усмотрят в нем симптом реориентации творчества автора, его готовность “возвратиться на землю”. Это совершенно неверно. Генделев совершил естественный, по сути — необходимый шаг: если до сих пор он живописал абсолютную небытийность, то в “Серебряной осени” автор перешел грань — и с той, “запре-

дельной" стороны озирает мир совершенно мертвыми, стеклянными глазами:

Серебряная осень Палестины.
Совсем — и безнадежно запустели
заслуженный колониальный стиль.
А писем мы и вовсе не писали.
И пылью обернулись сами
листья, впитав серебряную пыль.
Кто упрекнет нас — даже вспомнит если —
там — в метрополии — решат, что мы воскресли
— так долго были безупречны мы —
донашивая выцветшие хаки —
как самые упрямые служаки —
хамсин, оливы, бедные холмы.

Разумеется, не все творчество Генделева заслуживает только комплиментарной оценки. Многие стихи его отдают пошлостью и безвкусицей: отметим хотя бы кельнерские названия типа "Бельведер". А чего стоят подражания народному английскому поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку — "Вечернее пьянство в Хайфе", такой "Наум — Ячменное зерно"... Более того, и перечисленные мною — крайней неполно — достоинства его музы не обязывают относиться к ней с пиететом.

В конце концов, неприязнь многих к этим стихам вполне естественна и понятна.

Михаил Вайскопф

Запад

*(М. Агурский. Идеология национал-большевизма.
Имка-Пресс. Париж. 1980. 321 стр. Предисловие Леонарда Шапиро)*

Эта книга М. Агурского оригинальна по теме и увлекательна по материалу. Уже само по себе сопоставление двух понятий: "национализм" и "большевизм" — в едином определении "национал-большевизма" должно удивить читателей, привыкших к тому, что оба эти явления рассматриваются специалистами-историками советского периода и советологами вообще, как две неизменно противоборствующие силы.

М. Агурский в результате тщательного и непредвзятого изучения официальной советской документации, внутривластных споров 1920-х г.г., эмигрантской публицистики, литературной критики и собственно литературы первого десятилетия после 1917 года пришел к выводу, что в реальной истории советского общества очень рано начался процесс проникновения традиционных, коренных идей русского национального самосознания в практику и идеологию правящей партии.

Сделано это у М. Агурского интересно. Он обратился к широкому кругу источников, документов, мемуарных и иных свидетельств. Кого только вы

не встретите на страницах этой книги! Левые эсеры — А. Устинов, Р. Петкевич; левые народники — А. Чаянов, Н. Кондратьев; народный социалист А. Пешехонов; “Скифы”, Н. Клюев, С. Есенин, Илиодор (Труфанов), Е. Лундберг, О. Форш, Рюрик Ивнев, Блок, Белый, Максимилиан Волошин, Мариэтта Шагинян, Валерий Брюсов, В. Шуглин, А. Брусилов, Слащев; сменовеховцы — Устрялов, Лежнев, Ключников, Лукьянов, Бобрищев-Пушкин; и опять писатели — Алексей Толстой, евразийцы, В. Тан-Богораз... Не продолжаю этот список, так как в него вошли бы все сколько-нибудь известные публицисты, как советские, так и эмигрантские.

Делаю необходимую оговорку. Я не специалист-советолог и не берусь судить об этой книге с точки зрения внутренних проблем современной советологии. Я могу о ней говорить только как благодарный читатель, в силу возраста и биографии обладающий возможностью сопоставить то, о чем пишет М. Агурский, с собственными впечатлениями и воспоминаниями. Все эти имена мелькали в советских газетах, — а газеты я начал читать с 1923 года; они входили в мое сознание чаще всего в отвратительной форме на -“щина”: устряловщина, кондратьевщина. Уже потом из этого возникли Устрялов и Кондратьев.

Самое замечательное в работе М. Агурского то, что он очень спокойно, без восклицаний и негодующих вскриков снял официальный идеологический камуфляж, который и до сих пор верно служит советской пропаганде. Суть этого камуфляжа в том, что великодержавные, империалистические интересы советского государства подаются советской пропагандой внутри страны и ее рупорами во всем мире как служение интернациональным идеям пролетарской солидарности, борьбы против империализма, защиты угнетенных народов и т. д. Агурский, изучив доступный ему материал, проследил как и в каких формах осуществлялось влияние на идеологию и практику правящей в СССР партии разных форм русского национализма. Смысл этого процесса, по Агурскому, в том, что партийная идеология уже к середине 20-х годов пересаживается с одной лошади на другую. Сохраняя, как перекладную, идею интернационализма, она все настойчивее и последовательнее в своей практике начинает руководствоваться идеей национальной

В этой связи М. Агурский оригинально оценивает знаменитый тезис Сталина о возможности построения социализма в одной стране: “Сталин ясно понимал, что программа, с помощью которой можно добиться решающего перевеса, должна быть национальной, но хорошо замаскированной... Успешный лозунг, вместе с тем, должен был опираться на чувство превосходства перед Западом, на утверждение, что Россия сама, без чужой помощи, сможет построить самую передовую систему в мире”

Если русско-националистические корни этой идеи, да еще сформулированные грузином, в 1920-х гг. не были так заметны, как это стало позднее, то надо отдать должное исследовательской проницательности М. Агурского. Предложенная им трактовка идеи строительства социализма в одной стране, как своеобразной формы русского мессианизма, дает ему возможность показать, как русский национализм берет свое во все эпохи русской истории, даже такие, пафосом которых было “западничество”.

М. Агурский интересно показывает, по каким разным путям шло проникновение традиционных русских национальных идей в официально враждеб-

ную им идеологию правящей партии. Он подробно останавливается на мессианизме левых эсеров, на сменовеховстве, на писателях-попутчиках — на разных идеологических группах и течениях, вносивших свою форму русского национализма в духовную жизнь советского общества. Вдобавок М. Агурский показывает еще и то, что не находило себе выражения на высоком уровне идеологии, но подпирало партию "снизу", — стихийный национализм русского народа, особенно его самой еще тогда многочисленной части — крестьянства.

Книга М. Агурского освещает первое десятилетие существования в России нового порядка. Однако она имеет самое непосредственное отношение к тем спорам, которые сегодня идут в эмигрантской печати, особенно к спору о природе советской политики, о том, насколько советский строй для России органичен и не является ли он делом рук злонамеренных инородцев, в первую очередь евреев.

М. Агурский формально в этом споре не участвует. Но все содержание его книги, весь приводимый им очень разнообразный материал доказывает, что советская власть, сохраняя интернационалистскую маскировку, реально занималась упрочением русского государства и служила великодержавным его интересам. Любопытно и поучительно то, что говорит М. Агурский об отношении лидеров партии, евреев и неевреев, к различным формам русского национализма, предлагавшего партии "союз", — к сменовеховству Устрялова или к поэзии Есенина. Зиновьев, например, был враждебен к Устрялову и к Есенину; Троцкий Есенину покровительствовал и против Устрялова не выступал; Бухарин был непримирим ко всем формам русского национализма и сохранял эту непримиримость до 1936 года, когда за повторение слов Добролюбова о "нации Обломовых" был подвергнут жесточайшей проработке. О том же, что Сталин сознательно шел на союз с русским национализмом, говорит вся книга М. Агурского, и с этой точки зрения он очень убедительно объясняет отношение Сталина к "Дням Турбиных" Булгакова.

Все содержание книги показывает, что национал-большевизм — одно из орудий практической политики Сталина — как, впрочем, и немецкий национал-социализм — имели каждый глубокие корни в истории национально-го самосознания.

Можно было бы показать, продолжая работу М. Агурского, что национал-большевизм восходит не только к Леонтьеву и славянофилам, к их идее религиозно-нравственного, то есть идеологического превосходства России над Западом, но и к более старой идее "Третьего Рима", созданной старцем Филофеем в XVI веке.

Один из главных героев книги М. Агурского, Устрялов, восторгаясь властью большевиков, настаивал на их приоритете в борьбе с правовым строем. М. Агурский цитирует слова Устрялова: "В деле ниспровержения формальной демократии, одержимой аневризмом, "Москва" указала дорогу "Риму". Имеется в виду Муссолини и переворот в Италии. Продолжая эту аналогию, можно было бы сказать, что Советский Союз при Сталине сам стал Римом, тем самым третьим Римом, о котором только мечтали в XVI веке. В самом деле, аналогия с Римом напрашивается: размеры государства, его военная сила, а также и его внутреннее разложение, и опора его эконо-

мики на рабский труд — то есть та плата за величие и неделимость империи, которую платит русский народ в XX веке.

Книга М. Агурского помогает нам не только лучше понять структуру и историю установившегося в Советском Союзе социального строя, но и дает нам возможность трезво судить о возможных перспективах "Третьего Рима".

Илья Серман

Россия

СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ

("Память", выпуск пятый, изд-во "Свободная пресса", Париж, 1982)

Пятый сборник "Памяти" выпущен новым издательством "Свободная пресса", которым руководит В. Аллой. На мой взгляд, это чуть не лучший из выпусков этого исторического сборника.

Трудно выделить "более" или "менее" интересные материалы любителем истории все читается запоем, неотрывно. Мне лично были совсем не интересны материалы по истории кооперации в России, но это вовсе не значит, что они не важны или не увлекательны, — просто этот сюжет далек от моих персональных увлечений. Зато все остальное...

Читая этот выпуск "Памяти", я испытывал странное чувство: моя собственная жизнь вдруг оказалась вписанной в историю советской России. (Наверно, такое же чувство испытывал г-н Журден, когда узнал, что говорит прозой). В самом деле, разворачиваю раздел "Воспоминания", а там отрывок из мемуаров К. В. Косцинского-Успенского — рассказ о его втором "деле" в КГБ. А ведь я познакомился с Кириллом Владимировичем незадолго до его ареста, а потом, уже после его возвращения из лагеря, мы перезнакомились вторично, — но никогда не спрашивал его, что за "дело" было, кто участвовал, кто как себя вел — не принято было спрашивать, не деликатным казалось... Только однажды в московском Доме писателей мне показали на мужчину с трагическим лицом и прошептали: "Смотри, это "фантаст" Гансовский, который на суде сажал Кирилла..." А теперь, в сборнике "Память", читаю, что, оказывается, и мой институтский преподаватель, тишайший и скромнейший Павловский тоже "способствовал" следствию, и уж, конечно, Валентин Пикуль, которого в те годы считали вполне порядочным парнем, — а он уже тогда оказывал услуги органам, да как преподло! Все это происходило вокруг меня, происходило с моими знакомыми, в знакомых залах и кабинетах, где-то совсем рядом с моей жизнью, выходит, текла история России, а мне это и в голову не приходило!

Или смотрю я другой раздел — "Статьи". Там помещен бесценный для будущих специалистов обзор "Материалы к истории самостоятельных политических объединений в СССР после 1945 г." и есть главка — "Дело Трофимова". "Дело" это начиналось в стенах института, который я кончал в те самые годы (всего за год до того, как посадили "трофимовцев"), и меня потом долго уверяли, что я должен был знать Трофимова, но — не помнил я его,

мало ли их училось, младшекурсников, всех не упомнишь, это он нас должен был знать — старших! Но когда я вернулся в институт, в аспирантуру, увидел младшекурсника Пескина почему-то в роли продавца в книжном киоске, и Гарика Элинсона почему-то исключили — и никто не сказал, за что — не принято было рассказывать. Более того, лишь через несколько лет я случайно услышал от общего знакомого: “Георгий Бен на процессе Трофимова вел себя очень достойно” — а сам Бен не сказал мне ни единого слова о своем участии в процессе Трофимова, хотя мы дружили с ним с юности, со школьных лет. О том, как достойно держался на следствии еще один тогдашний мой приятель, Сергей Семанов, я узнал только из сборника “Память” — четверть века спустя!

Читаю воспоминания Н. Яневич об Институте мировой литературы — ее персонажей я не знал лично (единственное исключение — случайно упомянутая тринадцатилетняя Таня Ланина, которая уходила из Москвы в сорок первом, вполоча за собой на электрошнуре уютю, — а я знал серьезного и талантливого научного работника Татьяну Ланину 15 лет спустя), но ведь по их книгам учился, по книгам Елистратовой и Мотылевой, Тимофеева и Самарина... Теперь я узнаю, как они жили, как писали, как их ломали и истребляли — моих заочных учителей. В этой статье есть удивительно ценное для всякого источника качество. его автор часто не понимает скрытого смысла описываемых им событий. Оттого и свидетельство выглядит бесспорным: оно не подогнано под заранее выстроенную схему, персонажи не выстроены в задуманный позже ряд. Как было — так было... И потому сегодняшним взглядом мы многое различаем в картинах, набросанных автором, видим детали, которые она сама не угадала. Например, описывая трагедию Р. Самарина, который мог написать прекрасные книги, а вместо этого сочинял скверные доносы, Н. Яневич упоминает “жестокий эпизод” его юности: воспитанный в высоко интеллигентной и порядочной семье Самарин, став преподавателем в университете, случайно допустил “ошибку”: продиктовал рядом с предложением “Сегодня товарищ Сталин произнес историческую речь” несколько фраз из сборника диктантов, одна из которых гласила: “Эта речь возмутила всех собравшихся”. *Он сам на себя* донес тут же — не помогло. Но... Как Самарин выбрался из этой истории, неизвестно, — пишет автор, — но она на всю жизнь научила его, как надо “плавать” в советском обществе.

Как он выбрался — к сожалению, слишком понятно, в тот жуткий для него день были заложены основы его блестящей административной карьеры и... гибели ученого. В какой форме и с какими кантами явился к нему его Мефистофель — разве это трудно угадать? Но хорошо, что автору это и в голову не приходит: как же, ведь действительно крупный специалист, эрудит, умница — неужели и он? Не может быть...

И та же поразительная наивность, когда она вспоминает знаменитейшего из доносчиков, Эльсберга, и та же объективность, стремление даже в этом подонке найти нечто человеческое — они только усиливают выразительность картины. Автор, например, полагает, что Эльсберг был вынужден стать “информатором”, когда работал секретарем у Л. Каменева. На самом же деле он потому и работал у Каменева, что давно к тому времени обслуживал ведомство Ягоды и Ежова...

Бесценен для историка материал Е. Гнедина о стиле и методе работы Наркоминдела в 30-е годы — ведь практически все работники, все свидетели жизни этого наркомата уничтожены: кроме Гнедина живы только могильщики НКВД, а от них разве истину узнаешь?

Из чисто научных трудов самый интересный — это ответ проф. Р. Пайпса на рецензию А. Шанецкого по поводу его книги “Россия при старом режиме”. Как ни пробует редакция “Памяти” защитить своего рецензента (Шанецкого), а все-таки чувствуется, что сильная и аргументированная позиция Р. Пайпса произвела на нее серьезное впечатление: такого специалиста, как Р. Пайпс, кавалерийской атакой не собьешь! Чтобы с ним спорить, нужна долговременная осада с помощью серьезных исторических аргументов. Спорить возможно, но при этом требуется не “честь” России защищать, а искать истину — тогда, кстати, и честь защитится сама собой. У России есть и чем гордиться, и чем оспорить обвинения, — но не амбициями.

Есть, как видим, у России и что помнить — свидетельством тому “Память”.

М.Хейфец.

Израиль

ТРЕПЕТ ИУДЕЙСКИХ ЗАБОТ АЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЛЯ

(А. Воронель “Трепет иудейских забот”, изд. второе, переработанное, “Москва—Иерусалим”, 1982)

А ведь выветривается понемножку. Казалось: мыслимо ли забыть? Но слишком уж *здесь* не похоже на *там*. К тому же повседневность довлеет, мышья беготня. И все реже накрывает с головой волна горькой памяти. Очистительная, омывающая горечь — после нее новыми глазами смотришь на здешние свои беды. Это ли беды?! Тьфу!.. Кого как настигает эта волна. Чаще всего, говорят, за рулем. Может, оттого, что бывшему подсоветскому гражданину своя машина, на которой кати в любую сторону, — символ свободы? Трудно сказать. Я-то человек по преимуществу книжный, мне свобода — это: читай, что нравится. И та волна захлестывает, когда я с книгой. Не со всякой, конечно. А вот вроде этой, Воронеля.

Автобиография, обернувшаяся биографией поколения. Стадии становления личности, одна за другой, вплоть до самой важной — когда уже достаточно печального опыта, сил и решимости, чтобы выбрать себя как “иного”, “чужого” советскому государству и системе его ценностей.

Гипотез, догадок, утверждений предельно широкого порядка столь много в этой скупой на слова книге, что, разведи их пожиже, хватило бы на пяток томов. Но... зачем нам пожиже?

Конечно, каждый свое в ней вычитывает. Одни нашли ее антирусской, другие антисемитской. Бог (а, может, психиатр) им судья. По мне же, главное в ней — поиск смысла жизни. Причем — не для всех, а для себя. И, как всякая книга о себе, она отчетливо эгоцентрична. Но эгоцентризм — еще не вполне оценка. Смотри какое “его”. Тот нагоняет скуку, тот просто глуп,

а от другого глаз не отведешь — так интересен. Отсюда и парадокс: чем своеобразней, тем общезначимей.

Что более всего поражает, так это круг вопросов, над которыми бьется Воронель. Все тот же — вечный, он же проклятый и заколдованный: не разомкнув круга, вопросов не решить, не решив, не разомкнуть... И — как же быть? Нога повисает над пустотой... Не вырвавшись из круга, не найдя ответов, мы не в праве, кажется, и шагу ступить.

“Мы”... И не заметил, как приобщил себя к некоторому трудноопределимому множеству. Похоже, тех, кто своими силами выдирался из идеологических сетей, с молодых ногтей опутавших, сковавших нас. Но не в пустоту выдирался, не ради “иди, куда попало”, а — в некое чисто поле, чтобы без диктат и помех сплести собственную идеологическую сеть. Для себя. Не сеть-ловушку, а сеть координат — дабы не одну лишь идею уловить, а чтобы идея стала компасом в страну совокупности нравственного знания о мире и себе. Поневоле приходит на память Ортега-и-Гассет с его вычлениением из инертной массы, живущей как попало, как обстоятельства укажут, тех, кто одержим потребностью служить — свободно, добровольно — некоему принципу. Зачастую даже не ради самого принципа, а чтобы самому достойно сбываться. Не скажу: непременно безгрешно, героически, но — достойно. Ибо, как бы ни было важно то, что с нами станет, важнее — чем мы сами станем, осуществимся или нет. Как сказал любимый Воронелем реб Зуся: “Бог не спросит с меня, почему я не стал Моисеем. Он спросит, почему я не стал Зусей.”

Надо ли напоминать, как непросто обстояло с принципами *там*? Но (вот она благословенная монета, у которой всегда обратная сторона!) те глухие времена наградили нас некоторым преимуществом: поиск смысла, принципа был сопряжен с риском для жизни. И этим обретал особую значимость, становясь деянием, поступком. Но сначала все-таки было слово (а потом уже заводилось дело).

Читаю, а в голове все вертится сожальный рефрен: “Ну нет, чтобы лет этак двадцать пять тому мне бы ее!”. В смысле: в те юные времена, когда тешишь себя иллюзией однажды наткнуться на книгу, где будут все ответы. Когда-а еще дозреваешь до понимания, что таких книг не может и даже не должно быть. Но вот такая, как эта, возможна: не столько ответы, сколько вопросы — с парадигмами их возможных решений. И — принцип: каждый сам, своей жизнью ищет решений и не только в слове, но и в поступке. В этом одна из сутей книги Воронеля: сам выбери свою точку отсчета и считай, сам выбери свою систему координат и строй свою жизнь. Волевой — зиждательный — акт, тот самый, после которого уже совестно слишком-то кивать на злые обстоятельства.

Евреи и Россия, еврей в России... Русская историософия, как правило, говорит на языке Библии. Апокалиптически ориентированная, она примеривает на себя такие понятия, как “истинный Израиль”, “новый Иерусалим”... Правомерность такой примерки — вопрос особый, но в данном случае важна сама эта ориентация, так причудливо сцепившая судьбы еврейства и России. Не раз случалось слышать от искренних (они же — истинные) “русситов”: “Не будь я русским, хотел бы быть евреем”. Дескать, все другое слишком далеко от библейского сценария. И в этом смысле трудно

вообразить иное место, нежели Россию этого века, где драма еврейства была бы столь полна символическими смыслами. Именно в России история подсунила разом столько соблазнов еврею — лишь бы он отступился от себя. И об этом тоже книга Воронеля — не отступить от себя.

В свое время Кеннан сказал, что экономические, политические и прочие провалы советского социализма не суть важны, если ему все же удастся выковать "нового человека", то есть существо, абсолютно преданное системе. Но, как велосипед (чтобы не упасть, надо ехать), система должна двигаться вперед, а для этого мало послушания. Совместить же полную покорность с творчеством невозможно. И судьба Воронеля тому пример — государству не удастся приручить талант. Не случайно не удастся, а в принципе. И, значит, с треском ухнула в небытие самая адская из претензий советского режима — "новый человек".

Нерв "иудейских забот" Воронеля — в поисках своего Слова, своей линии, необходимо ведущей к Поступку. Еще и еще одному... Поступь. Я же и говорю: книга вполне эгоцентрична. Но все зависит от данного "его". Поступь его своеобразна и поучительна.

Э. Кузнецов

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

Александр Воронель. "Трепет иудейских забот"

(издание второе, переработанное и дополненное)

Почти музыкальный строй этой книги воспоминаний и размышлений лучше многих рациональных доводов автора доказывает, что наша судьба есть цельность, развертывающаяся во времени и пространстве, и нам надлежит прислушиваться к музыке своей жизни, чтобы не сфальшивить ненароком. Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Широко расхваливавшаяся в Еврейском Самиздате, частично опубликованная в самиздатском журнале "Евреи в СССР", в неполном виде изданная несколько лет назад, ставшая библиографической редкостью, эта книга теперь впервые приходит к читателю в своем полном и завершенном виде.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

ПИСЬМА

ПО ПОВОДУ КНИГИ Г. БУТМАНА

Уважаемая редакция

Статья Л. Гримма, помещенная в разделе "Люди и книги", не является в действительности рецензией на книгу Г. Бутмана "Ленинград—Иерусалим с долгой пересадкой" (Иерусалим, "Алия", 1982). В ней сильно ощущается попытка свести личные счеты, опорочить Г. Бутмана публично, а также — расчет на то, что читатель, бывший советский гражданин, глянет, втянет голову в плечи и пойдет, не вмешиваясь, своей дорогой. Расчет напрасный.

Хотя статья Л. Гримма — не рецензия, но книгу Бутмана он ведь читал. И не заметил разве, что вначале ее сказано "От автора": "Только в книжках для детей и в советских книжках для взрослых бывают безупречные герои. Не думаю, что хоть один из нас, прошедших следствие и суд, вполне доволен собой. Не думаю, что есть хотя бы один, кто, листая страницы прошлого, не казнил бы себя: не так надо было, не так..." (с. 15)?

Из этой цитаты видно, что Бутман не претендует на роль рыцаря без страха и упрека. Но, ознакомившись с его книгой и со сборником, на который ссылается Л. Гримм ("Антиеврейские процессы в СССР. Иерусалим, изд. Еврейского университета, 1979), легко опровергнуть "разоблачения" Л. Гримма одно за другим.

Прежде всего, по меньшей мере неуместно начинать статью о Бутмане со ссылкой на П. Якира. Якир выступил с покаянными речами на суде, позже — на транслировавшейся по телевизору пресс-конференции — и был вскоре освобожден. А Бутман получил максимальный, по сравнению с другими подсудимыми срок — десять лет, и о нем в приговоре сказано: "Судом учитывается, что подсудимый Бутман являлся одним из инициаторов преступных действий подсудимых и активное соучастие его в совершении особо опасного государственного преступления. Суд учитывает также чистосердечное раскаяние подсудимых..." Называются *четверо* из девяти участников процесса, *но не Бутман!* (стр. 475 сборника "Антиеврейские процессы"). И действительно, ознакомившись с выступлениями подсудимых на процессе, можно решительно утверждать, — как ни претит выносить оценки за поведение на суде, — что выступление Бутмана в этом смысле было из самых достойных, хотя по всему ходу дела он мог чувствовать, что срок ему грозит максимальный.

Л. Гримм напрасно беспокоится: "В тот момент советским властям позарез нужны были покаяния подсудимых, чтобы осадить расшумевшееся западное еврейство". Западное еврейство никакими покаяниями не осадить. Оно знает им цену, знает, как их добывают. Западное еврейство почему-то значительно добрее "восточного", которое все это знает еще лучше. Поэтому, кстати, Центр документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете мог выпустить сборник "Антиеврейские процессы в СССР" без опасения "осадить" западное еврейство.

Л. Гримм ловит Бутмана на том, что тот с товарищами "провели специальное заседание группы, посвященное тактике поведения во время допро-

са, и пришли к выводу: лучшая тактика — молчать” А на самом деле, видишь ли, не молчали. Но судя по материалам этого, да и других процессов, да и безо всяких материалов известно, молчали немногие. Кто молчал-то?! Книга Бутмана совсем не об этом.

Л. Гримм уличает: в своей книге Г. Бутман называет Советский Союз “полицейским государством”, с уважением отзывается о том, кто “в двадцать два года сел как антисоветчик”, а в последнем слове заявлял, что “социалистические отношения, которые победили в результате революции 1917 года — это замечательно” Но в том же последнем слове, пятью строчками раньше, Бутман, доказывая суду, что он искренен, объясняет: “Я и в другой обстановке защищал принципы марксизма-ленинизма, я говорил о своей вере в социализм...” и т. д. И в книге его есть (не единственное) подобное место: “Когда в начале письма шел дифирамбный абзац перевороту в октябре 1917 года, который я совершенно искренне назвал Великой Октябрьской Социалистической революцией... кое-кто покривился: кое-кто раньше меня избавился от догм” (с. 97).

Ситуация фантастическая. Подсудимых обвиняют в измене родине, в антисоветской деятельности. Объявляется антисоветским роман Уриса “Исход”, где Советский Союз упоминается всего пару раз и только в положительном контексте, книга Герцля “Еврейское государство” названа “идеологически вредной”. Речь беспрерывно идет о “действиях с целью подрыва и ослабления советского строя”. Естественной линией самозащиты и на антиеврейских, и на антидиссидентских процессах было отрещиваться от обвинений в антисоветчине. Ни один, самый отчаянный подсудимый, естественно, не сказал *им* того, чего они заслуживают, и о чем многие до, а особенно после процессов, в вышедших на Западе книгах, говорили и писали как о порождении антихриста. И только Бутман, который к тому времени “не избавился от догм”, должен был, по мнению Л. Гримма, высказать им на процессе то, что у нас у всех накопело. И приходится доказывать, что Бутман заблуждался честно, искренно.

Дальше. “Моя программа, — пишет Г. Бутман в книге, — пробуждение национального самосознания”. А на суде заявлял, что “еврейский национализм так же отвратителен, как и любой другой”. Но слово “национализм” можно толковать и так, и эдак, положительно и отрицательно (когда он “шовинизм”). Лучше приведу цитату и напому, что сказано это было не по “Голосу Израиля” на русском языке и даже не на страницах журнала “Двадцать два”, а в последнем слове, перед советским судом. Это ли отречение от сионизма? “Я не только родился от еврейской матери и не только ношу еврейское имя. Меня страшно волнует судьба страны, которую я люблю. Я горжусь тем, что принадлежу к еврейскому народу. С того момента, как я осознал, что я еврей, я почувствовал безмерную гордость за то, что принадлежу к своему народу, к своему замечательному народу, великому не тем, что он многочисленен, а великому своей преданностью идеалам демократии, социализма, своей стойкостью, своим высоким моральным духом, своей верностью великой мечте евреев, тысячелетней мечте когда-нибудь возродить на своей древней земле, на которой когда-то мы были пахарями, виноградарями, снова свое национальное государство. Моей

мечтой было остаться евреем, быть верным своим обычаям и традициям, быть обычным земледельцем, быть рабочим..." (с. 449 сборника "Анти-еврейские процессы").

В этом кардинальном вопросе — о верности сионистской идее — Л. Grimm *прямо пытается ввести читателя в заблуждение*: не мог он не заметить такого красноречивого места в последнем слове Бутмана.

Несколько раз в последнем слове называет Бутман операцию по угону самолета "страшным преступлением". А в своей книге назвал ее "лебединой песней организации". Но лебедь, как считает народ, поет свою песню перед смертью, перед тем, как разбиться о землю, и именно так представлял себе в подробностях конец их мероприятия Бутман, который должен был взять с собой в *тот* самолет жену и маленькую дочь (см. целиком стр. 180 его книги). Поэтому и отказался в конце концов от этой затеи. Бутман *всегда* считал это действие страшным. И обращаясь, как к людям, объяснял суду, почему все-таки его задумал. "Я хотел, чтобы советское правительство обратило внимание на эту проблему".

Наконец, позволю себе голословно заявить: считаю смехотворным предположение, что сидящим по 64-й статье с 1970 года Федорову и Мурженко может повредить содержащееся в книге Бутмана признание в том, что, приехав в Швецию, "самолетчики" собирались устроить там пресс-конференцию, что написать об этом в книге "означает фактически помощь обвинению — уже из Израиля" ("означает фактически помощь..." — милый, знакомый оборот, не правда ли?)

Для Grimma странно звучит "патетический вопрос автора: "Кто заложил, кто заложил?!" В книге Бутмана (стр. 220) этот вопрос задает не автор, а ему — "белобрый автоматчик из конвоя". Каждому известно, что на советском жаргоне "заложить" значит предать, и ничего больше. Бросаться этим словечком не принято. И то, что "Бутман на процессе показал, что говорил о захвате самолета со многими людьми. Всех он, естественно, запомнить не мог" — означает попросту, что он многим предлагал — в рамках исполнения плана — участвовать в операции, но суду пытался назвать не всех, ссылаясь, естественно, на забывчивость.

В целом, читая материалы Второго Ленинградского процесса, приходишь к выводу, что перед лицом безжалостной карательной машины подсудимый Бутман вел себя достойней и с большим мужеством, чем сейчас поступает, пытающийся опорочить его, некто скрывшийся под псевдонимом Л. Grimm.

М. Улановская

29 июля 1982 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция получила еще два письма на ту же тему, содержание которых ничего не добавляет к публикуемому письму М. Улановской. К сожалению для нас и, наверно, для самого Г. Бутмана, спор свелся к грехам и достоинствам автора, а не его книги. Между тем авторы писем совершенно игнорировали основную, как нам кажется, мысль рецензии Л. Grimm. Эта мысль

сводится к призыву более откровенно обнажить перед читателем всю полноту и сложность жизни, а не увлекаться романтизацией нашего прошлого. Никакие книги и рецензии не изменят фактов. То, что было, — уже произошло и навсегда останется в еврейской истории. Но диалог героев событий с читателем имеет смысл для нашего настоящего и будущего. Поэтому нравственная позиция автора и мера его открытости определит настроения молодых евреев в СССР, которым ведь придется все начинать с начала. Хорошо бы им знать обе стороны медали.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Редакция "22" с сожалением отмечает, что в нашем № 21 материалы "Сахаровского сборника" были опубликованы без указания источника. Это произошло с "Автобиографией" А. Д. Сахарова и статьей Г. Померанца "Цена отречения". Мы приносим свои извинения и благодарим тех, кто обратил на это наше внимание.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

МАРК ГИРШИН. БРАЙТОН-БИЧ

Широкое сатирическое полотно, запечатлевшее жизнь и судьбы "новых американцев" из Одессы, Киева, Москвы, собравшихся в грязном нью-йоркском квартале Брайтон-Бич, где жулики преуспевают, а честные люди поневоле становятся жуликами.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 5 долларов, за рубежом — 10 долларов.

Предварительные заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

НАУМ ВАЙМАН
ИЗ ОСЕНИ В ОСЕНЬ
(первая книга стихов)

Цена — 1 доллар. Заказы и чеки направлять автору по адресу: улица Шапира, 3/21, Азур, Тель-Авив, Израиль.

ФОТОМИР ИЛЬИ ЗУНДЕЛЕВИЧА

Илья Зунделевич родился в 1949 году в Таллине. Сейчас живет в Иерусалиме. Некоторый период своей жизни он работал программистом. Поэтому он полюбил хорошо организованное пространство. Снимать, что попало, — не интересно. Фотография есть текст, организованный и живущий по своим законам. Объем, диагональ, параллель, цезура. Тогда свободное время тратится с удовольствием. Для игры. Зунделевич играет в игры. Семиотические игры. Как?

Проект "ת" * . В переводе — не только буква, но и знак, символ, знамение, чудо. Дела еврейские. Не знает народ Книги повсеместного известного противопоставления: буква — дух. Не знает, не чувствует. Оставим букву закона английской юриспруденции. Пусть будет *нам* Буква Закона.

Единица смысла в западной культуре — текст; связь букв. Единица смысла культуры еврейской — буква, знамение, чудо. Напишем это на воде, камне, воздухе. И вступим в игру. Подстроим ситуацию. Зафиксируем глазом, пленкой, бумагой. Вот так — семиотические игры. Игра в чудо. Не потому ли фотографии Зунделевича чудесны (не в смысле "чуда", а в смысле хороши) ?

Лариса Герштейн



Фото Ильи Зунделевича

* См. последнюю страницу обложки.

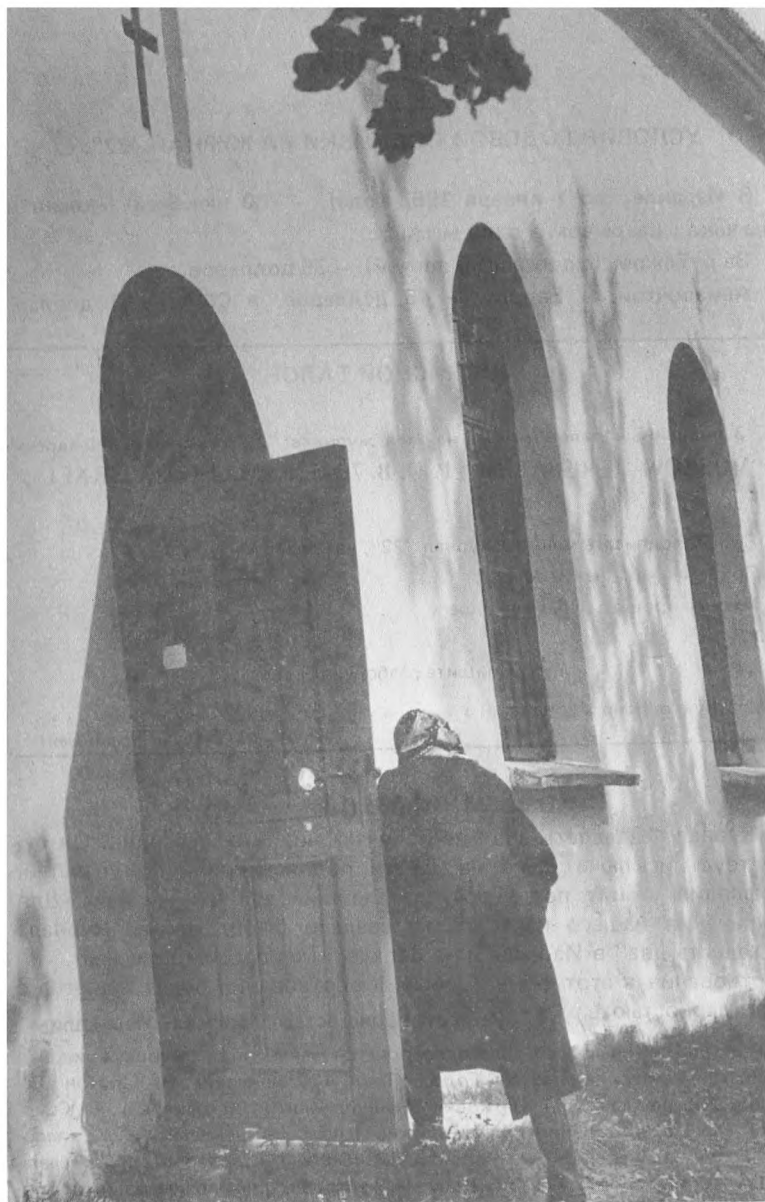


фото Ильи Зунделевича

Объявляется подписка на 1983 год

на журнал

“ДВАДЦАТЬ ДВА”

(№№ 29—34)

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ “22”:

В Израиле (до 1 января 1983 года) — 700 шекелей (можно в два чека с разрывом в один месяц).

За рубежом (с доставкой почтой) — 35 долларов.

Авиапочтой, в Европу — 45 долларов, в США — 51 доллар.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Заполненный талон и чек на имя журнала “22” высылать по адресу:
“MOSCOW—JERUSALEM”, P. O. B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL

Прошу подписать меня на журнал “22”, начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво)

Жертвую в фонд журнала
(фамилия)

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Журнал “Двадцать два” не получает никаких субсидий. Он существует исключительно на деньги подписчиков и почитателей. Инфляция ставит под угрозу дальнейший выпуск журнала. Для сохранения нашего издания мы создали “Фонд друзей журнала “Двадцать два” в Израиле и на Западе”. Мы просим присылать пожертвования в этот фонд. Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

Книготоровищество “Москва—Иерусалим”

Редколлегия выражает благодарность друзьям, поддержавшим журнал своими пожертвованиями: А. Годес (Яхуд, 100 шекелей), Я. Харитон (Реховот, 200 шекелей), Л. Наткович (Нацерет-Илит, 100 шекелей), В. Свирский (Хайфа, 400 шекелей), Т. Златкис (Цфат, 50 шекелей), Н. Кокиелова (Яхуд, 50 шекелей), А. Кагановская (США, 17 долларов), М. Мигдаль (США, 10 долларов), — а также другим жертвователям, пожелавшим остаться неизвестными.



Проект "אלה", Часть триптиха
Автор: Илья Зунделевич
Фото: Н. Шерман